



*Российская Академия Наук*

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЮРИЙ ГОЛУБИЦКИЙ

# СОЦИОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Физиологический очерк (1830—1840 гг.)  
как предтеча русских социологий

РИЦ ИСПИ РАН  
МОСКВА  
«ВЕЧЕ»  
2010

УДК [316+719.43] (075.8)  
ББК 60.56  
Г62

*Издание осуществлено при поддержке Российского гуманитарного  
научного фонда (РГНФ) — исследовательский грант  
№ 08-03-00478а, издательский грант № 09-03-16092д.*

**Рецензенты:** член-корреспондент РАН **Ю.Л. Воротников;**  
доктор философских наук **И.Г. Земцов**

**Голубицкий, Ю.А.**

Г62 Социология и литературный процесс. Физиологический очерк (1830—1840 гг.) как предтеча русских социологий / Юрий Голубицкий. — М.: Вече, 2010. — 272 с.  
ISBN 978-5-9533-4819-5

Монография исследует взаимодействие литературы и гуманитарных наук, в частности физиологического очерка (30—40-е гг. XIX в.) и первых русских социологий. В ней выдвигается гипотеза о литературодетерминированности социологии. На примере публикаций журнала «Новый мир» 60—70-х гг. XX в. рассмотрен феномен возвращения физиологического очерка, на сей раз как очерка социологического, а также бум социологизированной прозы. Прогнозируется дальнейшее развитие научного и художественного явлений (социологии и литературы) как процесса усиливающейся конвергенции. Это, по мнению автора, приведет к возникновению качественно нового социолингвистического явления, активизирует выработку принципов стилистики единой гуманитарной меганауки завтрашнего дня.

Издание адресовано социологам, филологам, историкам науки, популяризаторам научного знания, может использоваться как учебное пособие в социологических, филологических и иных гуманитарных учебных заведениях.

Публикуется в авторской редакции.

**Контакт с автором — e-mail: [golub9900@mail.ru](mailto:golub9900@mail.ru)**

**УДК [316+719.43] (075.8)**  
**ББК 60.56**

ISBN 978-5-9533-4819-5 © Голубицкий Ю.А., 2010  
© ООО «Издательский дом «Вече», 2010

## ВВЕДЕНИЕ

**Б**урное развитие социологии, чему мы, современники начального десятилетия XXI в., являемся свидетелями, интерес, проявляемый повсеместно к этой «науке предсказаний» научным сообществом, истеблишментом, образованными массами России и других стран, наконец, те надежды, которые питают в связи с объективно серьезными исследовательскими, футурологическими возможностями социологии правящие элиты, политики у власти и в оппозиции, — все это вкупе неуклонно обостряет и актуализирует общественное внимание к вопросу о генезисе социологии, подогревает интерес к ее непродолжительной, но яркой истории, к динамике становления и развития самого научного предмета, его рабочего инструментария и методологии.

На исследование генезиса российской социологии нас во многом подвигли идеи науки о науке, практика научных изысканий в области истории отечественной и мировой социологии. «Строго говоря, нет науки без предпосылок, — справедливо утверждал один из самых ярких философов современности, — такая наука немыслима, самая мысль о ней паралогична: всегда

должна иметься философия, “вера”, из которой бы наука получила свое направление, смысл, границу, метод и право на существование» [80, 200]<sup>1</sup>.

Несмотря на «молодость» русской социологии, выделить ее истоки порой весьма непросто. Уж в очень бурные, насыщенные событиями времена на стыке XIX—XX вв., в противоречивые, парадоксальные времена заключительной стадии мирового модерна зарождалась наша наука; на многих, порой весьма далеко отстоящих друг от друга явлениях научной и общественной жизни европейских стран, США, России, различимы ее «пометы». Связано это прежде всего с тем, что отечественная социология дореволюционного периода развивалась в рамках общемирового процесса наравне с ведущими национальными социологическими школами Европы и США.

«Русский период» отечественной социологии еще не изучен в должной мере, недостаточно известен не только за рубежом страны, но и в самом Отечестве. Вместе с тем, как считает ведущий исследователь предмета академик Г.В. Осипов, «Это очень плодотворный и содержательный отрезок исторического времени, сконцентрировавший значимые открытия в области философии, в области формирующихся социальных наук. Проистекал он на фоне уникального философско-художественного явления, подаренного Россией миру, которое названо “серебряным веком” человеческой цивилизации» [89, 18].

Автор данного исследования, будучи сторонником литературоцентричного мировоззрения относи-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее первая цифра в скобках указывает на порядковый номер цитируемого источника в списке использованной литературы, вторая курсивом — на его страницу.

тельно основных, фундаментальных явлений культуры, распространяя свой подход и на понимание междисциплинарного взаимодействия культуры (в частности — литературы) и гуманитарных научных дисциплин, выдвигает гипотезу о *литературо-детерминированном* генезисе социологии. Он готов предпринять экскурс в историю предмета и доказать родство находящихся там гносеологически близких, по его мнению, явлений литературы и социальной науки...

*Описательность* — вот что с формальной точки зрения роднит документальный (и не только) литературный источник с исследованием социолога. При этом следует иметь в виду, что описательность в данном случае понимается нами не только как *форма изложения* организованных в сюжет фактов, но и как всегда промежуточный итог перманентного противостояния составляющих дихотомии «замысел — результат». Призрачность, «мерцательность» этого явления-процесса, у которого и экстенционал (объект), и интенционал (признак) постоянно находятся в состоянии принципиально не завершаемого процесса дефинирования, пожалуй, первым уловил один из ведущих социологов современности Пьер Бурдьё. Уловил, проверил разработанным им же самим тонким инструментарием ментального подхода и дал определение: «Письменная речь (как воплощенная описательность. — *Авт.*) — это странный продукт, который создается в подлинной конфронтации между тем, кто пишет, и тем, “что он хочет сказать”, в стороне от всякого непосредственного опыта социальной связи, а также в стороне от принуждений и побуждений непосредственно ощущаемого заказа,

что проявляется во всякого рода признаках сопротивления или одобрения» [19, 5].

Таким образом, определение П. Бурдые подтверждает наше предположение о том, что обнаруживаемая в литературном источнике социальность является не результатом насильственной социализации<sup>2</sup>, а следствием объективного процесса, в основе которого — стремление авторов «в стороне от принуждений и побуждений» наиболее полно раскрыть механизмы и взаимосвязи все более осложняющегося социального мира.

Сбор материала, максимально подробное описание его, выявление главных черт и особенностей, анализ опорных элементов — таков путь в разработке выбранной темы и у очеркиста, и у социолога. Пожалуй, лишь отсутствие либо слабое проявление в большинстве социологических исследований явно выраженной психологической компоненты и художественности как некой сверх-и-надинформативной составляющей, разводит социологическую работу с литературным опусом на генетически родственные, но сущностным образом различные уровни, на собственно *науку* и *искусство*.

Впрочем, если быть максимально объективным, то следует признать, что и эти сущностные различия с течением времени все в большей мере нивелируются.

---

<sup>2</sup> Широко распространившийся в советской литературе 20-х — 30-х гг. XX в. т.н. «вульгарный социологизм» в этой связи уместно рассматривать скорее как исключение из общего правила, как следствие не объективного развития социальной науки и литературного процесса, а как феномен идеологического принуждения со стороны левацкого РАППа (Российская Ассоциация пролетарских писателей).

Психологизм напрямую обрел права гражданства в таком разделе современной социологической науки, как *социопсихология*, а как *элемент анализа* устойчиво и разнообразно используется в исследованиях социологов не только нынешнего, но и предыдущих поколений. Художественность, понимаемая как образность мышления и живость авторского пера, и подавно во все времена отличала стиль изложения истинно одаренного ученого. Не составили в этом отношении исключения и социологи. Достаточно обратиться уже к первой книге Питирима Сорокина «Преступление и кара, подвиг и награда» (1913), к его более поздней работе «Социальная и культурная динамика» (1937), чтобы убедиться и в активном использовании автором психологических компонент исследования общества и личности, и в мастерском владении стилистикой письма.

«Не помню сейчас, какой ученый сухарь родил ту “бессмертную” идею, что в храме исторической науки эстетике делать нечего», — с сарказмом заметил еще Ф. Меринг [74, 27].

Более радикально относительно взаимодействия научного и эстетического (художественного) подходов к материалу исследования высказался Б. Брехт, утверждавший, что «сегодня возможно создать даже эстетику точных наук» [17, 175].

Ученый, эссеист С. Эпштейн, рассуждая на ту же тему, задается, фактически, риторическими вопросами: «Неужели сухость, трудная форма изложения, через которую читатель должен продираться к содержанию, — непременный спутник учености? Разве научная книга не должна увлекать? Разве читатель, “входящий в науку”, должен заранее оста-

вить надежду на всякие эмоции и приготовиться к преодолению в поте лица языковых и им подобных барьеров?» [130, 274–275].

Во введении к своей монографии «Эстетика истории» отечественный философ, эстетик, историк и популяризатор науки Арсений Гулыга, словно подводя черту под вышеприведенными высказываниями, утверждал: «В марксизме есть своя, восходящая к классикам традиция — в научном творчестве не забывать о художественной стороне дела» [36, 5].

(Думается, нет серьезных оснований данный тезис воспринимать как исключительно марксистский. Учитывая, что цитируемая книга издана в середине 70-х гг. прошлого столетия, т.е. в апогее так называемого политического «застоя» и всевластия в СССР марксистско-ленинской идеологии в понимании ее пропагандистами КПСС, упоминание автором в таком контексте марксизма естественно рассматривать как соблюдение им общепринятого тогда идеологического ритуала. Цитирование или просто упоминание классиков марксизма-ленинизма являлось непременным атрибутом, облегчающим прохождение рукописи через цензуру.)

Однако вернемся непосредственно к предмету предпринятого нами исследования.

Описание, воссоздание посредством письменной формы среды обитания индивидуума, которую мы сейчас называем *социальной средой*, обозначилось в конце XVIII в. и окончательно утвердилось в первой половине века XIX в понятийном аппарате гуманитарных наук термином «физиологизм».

Этот же термин утвердился в качестве определения и в одном из основных на тот момент литератур-



ных жанров — очерке. При этом понятие «физиологический» чаще всего употреблялось в значении «правдивый», «естественный», даже «натуральный» в смысле «антиромантический» и «неидеализаторский». Так отчего же не один из вышеперечисленных синонимов, а именно термин «физиологический» утвердился в истории отечественного литературного очерка?

Это объясняется особенностями развития французского реализма и традициями французской философии и естествознания XIX в., отразившимися на методологии творчества и в особенности на его теоретико-эстетическом осмыслении, — считает отечественный исследователь интересующего нас предмета [62, 118—119]. Труды Лемарка, Сент-Иллера (в частности, борьба последнего против метафизической теории неизменности видов Кювье) способствовали выработке в общественном сознании доверия к эволюционным взглядам на историю не только в биологической, но и в общественной жизни людей, на зависимость их от среды, от обстоятельств бытия. Успехи тогдашнего естествознания раскрывали взаимную связь индивидов, подчеркивали необходимость их изучения в свете всех обстоятельств жизни, протекающих процессов как внутри индивида, так и внутри среды или общества. Естествознание стихийно подводило к идеям диалектики, хотя относилось к ним бессознательно и применяло их непоследовательно. И все же оно воспитывало уважение к фактам, внимательному отношению ко всем формам проявления общественной жизни. Как все органы тела важны и взаимодействуют слаженно, так и каждый член общества заслуживает внимания,

потому что играет определенную роль в общественном организме.

Надо полагать, что очевидный для нас упрощенческий характер установок этой «физиологической» теории, особенно проявляющийся в применении к общественным наукам и литературе и чреватый при дальнейшем развитии механицизмом и вульгарным материализмом, вполне устраивал современников термина — его авторов и пользователей.

С тех пор термин сей претерпел серьезные изменения и ныне трактуется в основном как физиологические проявления живого организма. Во времена же, которые большинство исследователей склонны считать зачинными для становления современной социологии и онтологически родственного ей в русской литературе метода реализма, понятия «физиологического» и «социального» были практически тождественны, в том числе и по причине недостаточной развитости понятий собственно социального и литературоведческого блоков. Что и позволяет нам **отнести к предтечам социологии литературные «физиологии»**, в которых, как в семенах, сконцентрировались в ожидании последующего развития понятия, методы и даже методология позднейших литературно-научных и социологических исследований.

В общем плане термин «физиология» по отношению к литературе в то время выражал стремление с точностью, близкой по равнозначности естествонаучному анализу, исследовать жизнь средствами художественного творчества. По существу же подразумевалась необходимость *социологического подхода* к художественному исследованию и литературной фиксации действительности.

В процессе развития жанра целью русского физиологического очерка становится не столько повествование о событиях, сколько *характеристика определенного общественного явления*, создание на этой основе «национальных типов» русской жизни.

Вспомним, что и социология на начальном этапе ее становления была ориентирована на аналогичные задачи. Предпринимались попытки создания общих теоретических систем, в которых «немедленно найдется свое заранее отведенное место всякое наблюдение относительно любого аспекта социального поведения, организации или изменения» [136, 140].

С одной стороны, это было обусловлено самим интеллектуальным контекстом XIX в., когда фундаментальные философские системы распространили свое влияние на все области социального знания, с другой — стремлением социологов, невзирая на скромный уровень развития своей научной дисциплины, ответить на требования, предъявленные к ним широкой общественностью.

Один из основоположников научной социологии Р. Мёртон полагал, что социология в то время еще не была готова к формулированию всеобъемлющей теории, включающей в себя все наблюдаемые аспекты социального поведения и способной ориентировать исследователей на занятие социально значимыми проблемами. Вместо этого он предлагал сконцентрировать внимание на «теориях среднего уровня», являющихся «промежуточными между простыми рабочими гипотезами, в изобилии возникающими в процессе ежедневных рутинных исследований, и всеобъемлющими спекуляциями, включающими основную концептуальную схему, из которой должно вы-

водиться большое число эмпирически наблюдаемых закономерностей социального поведения» [136, 45].

Как видно из приведенного выше сопоставления, схожесть целей и задач физиологического очерка и нарождающейся науки — социологии почти что буквальная. Ведь что такое «всякое наблюдение относительно любого аспекта социального поведения, организации и изменения», как не сам по себе реализованный физиологический очерк, которому по замыслу первых социологов и предстояло «немедленно найти свое заранее отведенное место» в системе координат новой науки!

Демократизм русского физиологического очерка, не просто возможность, но *желательность* (В. Белинский) героя из народа также роднит это литературное направление с отечественными социологическими исследованиями. И если В. Белинский пишет о русском мужике как о желательном герое литературных физиологий<sup>3</sup>, то Н. Флеровский (В.В. Берви) **в первом отечественном прикладном социологическом исследовании**<sup>4</sup> «Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования» (1869) берется препарировать социологическим инструмен-

---

<sup>3</sup> «— Но что может быть интересного в грубом необразованном мужике? — Как что? Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, словом, все то же, что и в образованном человеке» [64, 95].

<sup>4</sup> «Прикладная социология в России началась с монографии Н. Флеровского (В.В. Берви) «Положение рабочего класса в России» (1869), в которой, несмотря на урбанистическое название, автор исследовал условия труда, быта сельскохозяйственного населения, особенно батрацкого, и анализировал общественные типы организации аграрного труда, производственных отношений в сельском хозяйстве, прежде всего в помещичьем, крестьянско-общинном и кулацком хозяйстве» [112, 41].

тарием труд и бытование русских аграриев — тех современных ему сельских тружеников, на которых как на «мужиков» указывал наш выдающийся литературный критик.

Из сказанного можно сделать вывод, что **русский физиологический очерк середины XIX в., развиваясь практически одновременно со схожим европейским социально-литературным явлением, исповедовал те же идеи, опирался на аналогичную методiku отражения действительности, которые взяли на вооружение первые социологические исследования, проведенные в Европе, Америке, а затем и в нашей стране на рубеже XIX—XX вв.**

Подтвердить этот тезис анализом-сопоставлением физиологических очерков и российских социологических исследований и предстоит автору данной работы. Такого рода задача, на наш взгляд, интересна не только в историческом аспекте, но и вполне корреспондируется с современностью. Как будет показано далее, феномен физиологического очерка, никогда полностью не исчезавшего из отечественной литературной практики, получил новое интересное воплощение в Советском Союзе 60—70-х гг. прошлого столетия, когда возродился почти что в калькированном виде, прежде всего, в практике литературно-общественного журнала «Новый мир».

Но до этого (60-е гг.) «Новый мир» — самый последовательный и целенаправленный проводник демократических идей «оттепели»<sup>5</sup>, опубликовав

---

<sup>5</sup> Термин «оттепель» как «преодоление сталинского тоталитаризма» утвердился в литературной и общественно-политической лексике «шестидесятников» после публикации одноименной повести И. Эренбурга.

на своих страницах солидный корпус научных и научно-популярных статей по животрепещущим вопросам социологической науки, стал публичной трибуной возрождающейся советской социологии, ее популяризатором и пропагандистом.

К этому же периоду относится новомировская публикация одной из самых значимых для нашего исследования работ — «Социология и литература» [47, 148], которая доказательно демонстрирует не просто онтологическую близость, но и взаимопроникновение вынесенных в заголовок научного и художественного феноменов.

«По словам социологов, в тот период, когда их наука была на положении Золушки, социальные писатели, прежде всего очеркисты, успешно выполняли функцию дотошных исследователей советского общества, — утверждал Вл. Канторович. — Чаще всего называют при этом “Районные будни” В. Овечкина и “Деревенский дневник” Е. Дороша, не забывая прибавить, что автор “Дневника” пользовался испытанным в социологии методом “панельного” исследования, когда наблюдения накладываются последовательно, с интервалами, на один и тот же объект» [47, 169—170].

Мы также намерены показать, как литературная и научно-исследовательская деятельность в условиях современной постсоветской России по-своему модернизирует традиционные формы физиологического очерка и социологизированной прозы (в частности, социологических этюдов), выявить, описать и систематизировать некоторые из этих тенденций и феноменов. В таком случае собранный и осмысленный материал, несомненно, расширит наше пред-

ставление о синтезе социально детерминированной прозы и научного социологического исследования в новых социально-политических реалиях российского социума.

Убеждены, что изучение опорного для нарождавшейся во второй половине XIX в. российской социологии информационного массива, каковым является отечественный физиологический очерк, выяснение в ходе этого исследования степени и механизмов влияния литературных «социологий» на становление отечественной социологической науки в очередной раз подтвердит прогрессивное гуманистическое содержание как русской социологизированной литературы, так и отечественной социологической науки, их предрасположенность к благим инновационным трансформациям, непреходящую общественную значимость.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## Физиологический очерк и социологическое исследование: феноменология, сближение в развитии

### 1.1. Русский очерк — этапы развития, особенности жанра

**О**черк как жанр отечественной литературы возник еще в XVIII столетии, в XIX в. окончательно оформился в литературном процессе стремительно поднимавшегося тогда русского реализма и с тех пор является одним из самых распространенных явлений письменного творчества. В жанре путевого очерка написаны «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина и «Кавказец» М.Ю. Лермонтова. В 40-е гг. XIX в. его активно используют Даль и Панаев, Григорович и Соллогуб, а также писатели, ставшие впоследствии классиками отечественной литературы: Некрасов, Тургенев, Гончаров, Герцен. В «Москвитяине» конца 40-х — начала 50-х гг. печатает свои физиологии писатель демокра-



тических взглядов (при некоторых уступках славянофилам) И.Т. Кокорев, которому, наравне с В.Г. Белинским, принадлежит одно из первых письменных упоминаний физиологизма в отношении литературного очерка<sup>6</sup>. Десятилетие 60—70-х гг. обогатило отечественную изящную словесность очерковыми произведениями Помяловского, Слепцова, Левитова, Решетникова, но прежде всего Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского. В узкой области очерка из крестьянской жизни объединились по тематическому и мировоззренческому родству народнические писатели П.В. Засодимский, С. Каронин, Н.И. Наумов, Н.Н. Златовратский, А.И. Эртель, которые в творчестве своем руководствовались специфической идеологической программой, лишь в самом широком смысле корреспондировавшей с демократическими традициями русской натуральной школы. В 80-е гг. выдающиеся образцы очеркового жанра создает Короленько, немногим позже — М. Горький. Отдельного упоминания заслуживает шедевр жанра — сборник очерков «Москва и москвичи» «дяди Гиляя» — легендарного В.А. Гиляровского, которому писатель Константин Паустовский посвятил проникновенный и заслуженный панегирик<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> «Очерки мои отчасти сродни тем литературным блескам, что зовутся за морем физиологиями, — и поэтому-то осмеливаюсь представить на твое (читатель) благоразумие несколько отдельных штрихов, тем более что они могут показать истинную точку, с которой надобно смотреть на целое» [54, 126].

<sup>7</sup> «Есть люди, без которых не может существовать литература, хотя они сами пишут немного, а то и совсем не пишут. Это люди — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный сок. Неважно — много ли они или мало написали. Важно, что они жили и вокруг них кипела литературная жизнь своего вре-

Изучение русского очерка, его истории, по мнению ведущего исследователя этого направления отечественной литературы А.Г. Цейтлина, следует начинать с 70-х гг. XVIII в., когда сатирические журналы «Трутень» и «Живописец» Новикова, «Сатирический вестник» Страхова и ряд других в массовом порядке печатали образчики такого жанра. Опыт раннего русского очерка пригодился очеркистам первой трети XIX в. К. Батюшкову, Н. Полевому, В. Одоевскому.

Следует признать, что очерк XVIII в. по методу своему не являлся реалистическим, скорее — нравоучительным. Очеркисты выступали не столько «исследователями» общества, сколько его «исправителями». Изображая предосудительное, по их мнению, явление (придворного угодника, светскую модницу и т.п.), они еще не могли указать на общественные закономерности предмета своего изображения. Они видели свою главную цель в противопоставлении «злomu» «доброгo», т.е. в моралистической критике. Отсюда — доминирующий схематизм и бросающееся в глаза тематическое однообразие русского очерка этого периода.

С начала XIX столетия сатирический очерк все более уступает место очерку бытовому, нравоописательному. Очеркист перестает поучать, он все чаще изображает колоритные нравы определенной социальной и географической среды.

Интересным для нас в плане предпринятого анализа является бытовой очерк К.Н. Батюшкова «Про-

---

мени, а вся современная им история, вся жизнь страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время» [90, 8].

гулка по Москве» (1811) — блестяще выполненная зарисовка уличной жизни русской столицы. Особенно колоритно выписан автором Тверской бульвар — уже в те времена городской центр, сосредоточие разнообразных интересов москвичей, куда в «прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские» стекаются толпы праздных москвичей. Автор с доброй иронией сообщает, что «Хороший тон, мода требуют жертвований: и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица!» [6, 312]. Галерею живописных литературных портретов дополняют провинциальный щеголь, университетский профессор «в епанче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу», записной стихотворец, надеющийся получить за чтение эпиграммы похвалу или приглашение на обед, и «шалун», который напевает водевили и травит прохожих своим пуделем [6, 312].

В особо интересующем нас социальном разрезе характерна следующая зарисовка Москвы, приведенная в очерке К.Н. Батюшкова: «Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая обитель нищеты и болезни. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, голодом и стужей, — дети полунагие, мать за пряслицей, отец, старый заслуженный офицер, в изорванном майорском камзоле, починяет старые башмаки и ветхий плащ, чтобы по утру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба <...>» [6, 313]. Картинка, вызывающая в памяти куда как более известные массовому читателю произведения революционных демократов поздней поры, в част-

ности — Н. Некрасова. Однако далее констатации этого вопиющего неблагополучия и несправедливости (описываемый отец семейства — «заслуженный офицер», майор, если судить по изодранному камзолу) К.Н. Батюшков не идет. «Вот Москва, большой город, жилище роскоши и нищеты» [6, 314]. Констатирован факт, взята на заметку характерная ситуация, нетрудно понять авторское отношение к предмету изображения углубившись в психологию восприятия, мы различим косвенное обращение автора к совести читателя и даже, если в том возникнет нужда, готовность к полемике с этой читательской совестью во имя ломки предрассудков и привычек, но ничего, что касалось бы *причин* и *следствий*, мы не найдем в пространном тексте очерка. *Социальный анализ* — до него еще годы упорной работы сонма бытописателей.

(Читателя, желающего сравнить, чем схожи и чем разнятся описания Тверского бульвара и его случайных посетителей и завсегдатаев у К.Н. Батюшкова и одного из самых ярких прозаиков современной России С.Н. Есина, сравнить и тем самым еще раз удостовериться в преимуществах литературных традиций и неизбежности новаций, связанных, в первую очередь, с изменением **социальной компоненты** описываемых персонажей и пространства их существования, отсылаю к роману «Твербуль» [38].)

И все же первые необходимые *шаги познания* по этому пути уже сделаны. «Автор “Прогулки по Москве” уже сбросил с себя докучливые вериги сатирического очерка: далекий от мысли “поучать”, он стремится “замечать физиономии”, наблюдать жизнь Москвы во всей пестроте ее повседневных обычаев»

[6, 129]. Отметим, что наблюдение жизни без попыток ее дидактического осмысления, другими словами — *сбор объективной информации* является неременной исходной стадией любого социологического исследования.

Предпочитая реальное «сущее» морализаторскому «должному», Батюшков и писатели его направления существенно приближаются к изображению «физиологии» в том смысле этого термина, которое он приобретет позже, в 40-е гг., став, по сути, синонимом «социальному» в современном толковании этого понятия. «Прогулка по Москве» еще не содержит ни истории (развитого сюжета), ни детализованной географии места действия, ни пояснений, из которых читателю стало бы ясно, почему именно это место — Тверской бульвар — сделалось центром московских гуляний. У писателя еще нет интереса к *социальной проблематике* изображаемого им бытового явления.

Нет его и у Рыльева («Провинциал в Петербурге», 1821), Владимира Одоевского («Сборы на бал», «Невеста», «Первый выезд на бал», «Женские слезы» и др.).

Впрочем, Одоевский отдельно интересен нам своим почти что маниакальным стремлением запечатлеть посредством очеркового описания символический срез городского дома. Соавторство в реализации этого, выражаясь современным языком, «проекта», названного им «Тройчатка» — по трем объектам изображения: гостиная, чердак, погреб, — он предлагал даже Пушкину [94, 47]. Получив от него отказ, переключился с проектом уже «Двойчатки» на Гоголя, но и с ним не преуспел. Обе части «Двойчатки» впослед-

ствии были опубликованы отдельно. Гоголь под псевдонимом Рудый Панек написал «Портрет», действие которого происходит на чердаке, в убогой мансарде художника Черткова. Одоевский, взявший псевдоним Гомозейко, живописал быт обитателей светской гостиной княжны Мими в очерке «Княжна Мими». Так, с существенными сокращениями первоначального плана, все же был воссоздан быт гостиной и чердака, и тем самым, пусть и в усеченном виде, реализован на русской почве замысел предшественника, француза Жюль Жанена, призывавшего коллег изобразить большой столичный дом [26, 161].

Ни опыт русского сатирического очерка XVIII в., ни обретения бытового очерка первой половины XIX в. в процессе развития отечественной литературы не пропали втуне. Сошлемся лишь на один пример — роман «Семейство Холмских» Д.Н. Бегичева, вышедший в свет в 1832 г. с характерным подзаголовком «Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян». Опять укажем на поразительную социологичность нравоописательного текста. Претерпев небольшую стилистическую правку и замену объекта изучения — «дворян» на, скажем, «представителей среднего класса», что в большей мере соответствует нашему времени, подзаголовок романа Д.Н. Бегичева вполне мог бы стать названием темы современного социологического исследования.

Бегичев, равно как Калашников, Степанов, Погодин и другие литераторы этого направления, занимают в истории развития отечественного очерка промежуточную позицию между *бытовым* и *физиологическим* методами отражения реальности. Несмотря

на то, что, как за всех выразился Бегичев, они представляют читателю в своих текстах «не идеальное, а существенное, т.е. что мы видим беспрестанно, что у нас перед глазами» [10, 11], писатели эти не являются «физиологами» в том смысле, в котором этот термин приложим к очеркистам 40-х гг. Последние в значительной мере усовершенствовали творческий метод «бытописателей», придали ему большую концентрированность в стилистике изложения события, объекта описания, ввели социально-бытовые характеристики изображаемых объектов и персонажей.

## 2.1. Физиологический очерк: феноменология и национальные особенности

«Физиологии» — бытовые правописательные очерки были распространены во Франции в 1820—1840 гг. Само понятие «физиологии» в литературе ввел французский писатель и юрист Б. Саварен, издавший книгу «Физиология вкуса» (1826). Большую популярность приобрело девятитомное издание П.-Л. Крюмера «Французы в их собственном изображении». Физиологический очерк как форму самовыражения сразу же признала демократическая, антиорлеанская, республиканская прослойка французских писателей: Ж. Санд, Ф. Сулье, Ф. Пиа, П. Борель, П.-Ш. де Кок, Ж. де Лабрюйер, А.-Р. Лесаж, Л. Гозлан и «доктор социальных наук» О. Бальзак, который вместе с А. Дюма, Ж. Жаненом и другими популярными французскими писателями того времени непосредственным образом принял участие в издании П. Крюмера.

Физиологический очерк занимал заметное место и в других, помимо французской, главных литературах Запада: английской (Ч. Диккенс, У.-М. Теккерей), американской (У. Ирвинг) и др.

Важно отметить, что возникновению, становлению и развитию физиологического очерка немало поспособствовали достижения тогдашней физиологии, которая, вкуче с родственными ей естественными науками, помогала литераторам вырабатывать научный метод социологического исследования действительности.

Как это часто случалось в пристально следившей за европейской литературной жизнью России, практически одновременно с французским изданием П. Крюмера в Санкт-Петербурге выходят альманахи А.П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими», а затем, на протяжении 1840—1842 гг. — еще 13 выпусков этой очерковой серии.

**Альманах А. Башуцкого**, как принято считать, и положил начало *русскому физиологическому очерку*, испытывавшему воздействие французской литературной традиции. В.Г. Белинский, как никто из его современников чуткий к литературным новациям, впоследствии заметил: «недавно получили в литературе права гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта» [13, 316].

За короткий отрезок времени один за другим выходят сборники «Очерки московской жизни» П. Вистенгофа (1842), «Лицевая сторона, или Изнанка рода человеческого» Ф.В. Булгарина (1842), альманахи Н.А. Некрасова «Физиология Петербурга» (1845), «Петербургский сборник» (1846), «1-е апреля» (1846). Всего же за неполное десятилетие



(1839—1848), по сведениям А.Г. Цейтлина, на которого ссылается В.П. Иванов [40, 72], вышло в свет не менее 700 физиологических очерков, а в жанре этом выступили такие отличные друг от друга беллетристы, как В.А. Соллогуб, П.В. Ефёбовский, Н.А. Некрасов, П.С. Федоров, А.П. Башуцкий, Д.В. Григорович, И.А. Гончаров, В.И. Даль, И.И. Панаев, П.Ф. Вистенгоф, И.Т. Кокорев, Е.П. Гребенка, С.Ф. Дуров, В.В. Толбин и др.

Вместе с тем неверно было бы предполагать исключительную вторичность, подражательность русского физиологического очерка по отношению к европейскому аналогу.

*Во-первых*, у русского феномена явственно просматриваются сугубо отечественные корни. Первые русские назидательно-правописательные *этнографические* очерки, предвосхитившие физиологические, были написаны еще в первой половине XIX в. К.Н. Батюшковым: «Прогулка по Москве» (1811—1812); В.Ф.Одоевским: «Сборы на бал», «Женские слезы», «Невеста» (1820-е); Н.А. Полевым: «Новый живописец общества и литературы» (1832)<sup>8</sup>.

*Во-вторых*, что до собственно русских очерковых физиологий, то и они вовсе не копировали закордонных аналогов. В русских физиологиях, в отличие от тех же французских, практически не изображались люди света и интеллигенция. Русские писатели отдавали предпочтение представителям «третьего сословия», мещанам и так называемой «черни», которая в значительной мере состояла из крепостных и недавно отпущенных крестьян.

---

<sup>8</sup> Подробнее см.: [62]; [71]; [124].

Таким образом, русские физиологии являлись демократичнее и реалистичнее французских. В отличие от французских очеркистов, которые в большинстве случаев ограничивались спокойной (объективной?) констатацией социального неблагополучия, их русские коллеги искали радикальные способы избавления от нищеты. За немногими исключениями, они также не поддерживали практику частной благотворительности, которая, по их мнению, лишь развращала народ, способствовала его физической и морально-нравственной деградации и развитию в среде бедняков опасной для них резиньяции — психологии примиренности с судьбой<sup>9</sup>.

Поэтому правильнее было бы говорить о **двуедином генезисе** русского физиологического очерка, который составляют доморощенная литературная линия, исполненная отечественными писателями, а также европейское (в основном французское) заимствование. Даже, скорее, не столько заимствование, сколько вдохновенность<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Справедливость опасений противников безадресной благотворительности подтверждает сообщение члена Комиссии, учрежденной в 1898 г. при Министерстве юстиции для разработки вопроса о мерах борьбы с профессиональным нищенством и бродяжничеством, барона О.О. Буксгевдена. В Сызрани, сообщает барон, раскольник Еромасев оставил по духовному завещанию 10 000 руб. на раздачу нищим. Дугой раскольник Сыромятников раздал по случаю смерти своей жены 10 000 руб. в продолжение 40 дней нищим и раскидал птицам несколько пудов зерна. В день раздачи этих денег к дому Сыромятникова стекалось до 500 человек оборванцев, которые затем отправлялись пропивать полученное подаяние [65, 7].

<sup>10</sup> В музыкальном сочинительстве термин «вдохновенный» получил широкое распространение у композиторов XIX—XX вв. Даже самые маститые из их (К.-М. Вебер, Ф. Шуберт, М. Ра-

Физиологический очерк, в отличие от более «вольных» разновидностей этого жанра, строится не просто на точном («дагерротипном»<sup>11</sup>) воспроизведении фактов, но и имеет четкие структурные черты, гносеологически *роднящие его как вид с социологическим исследованием* и в существенной мере отличающие от иных форм литературно-публицистического письма. К важнейшим из этих черт относятся:

- отсутствие сюжета в традиционном понимании термина;
- принцип локализации действия;
- использование статистически точных сведений при описаниях местности, времени действия, персонажей;
- отношение к воспитанию, образованию, жизненным условиям героев как к основным их характеристикам;
- повышенное внимание к характеристике социальных типов и среды;
- изображение жизни в социальном «разрезе»;
- четкая тенденция к типизации изображаемого явления, стремление создать образы-типы.

Стремление создать образы-типы Н. Некрасов определял как характерную черту «литературной физиологии», как «историю внутренней нашей жизни».

---

вель, Р. Шедрин и др.) не считали зазорным указать: «вдохновенный И.-С. Бахом», «Вдохновенный В.-А. Моцартом» и т.п.

<sup>11</sup> Термин «дагерротипный» быстро и прочно вошел в обиход в связи с физиологическим очерком и употреблялся примерно в том же значении, какое мы теперь вкладываем в понятие «фотографичность». В.Ф. Одоевский верно утверждал, что дагерротипия «<...> может служить одним из самых осязаемых доказательств, что подражание природе, и самое точное, не есть еще искусство» [101, 500].

Физиологический очерк зафиксировал отказ от романтических сюжетов и приемов расширения романтических образов. Более того, он сформировал установку на сознательное выдвигание *демократического* героя. Если же вести речь в целом о натуральной школе, к которой в жанровой иерархии принадлежал и физиологический очерк, то ее тексты не только преодолевали романтические штампы с «единодержавием» героя, но и исключительность самих романтических героев, таких как Чацкий, Онегин, Печорин. В этом социально-классовом предпочтении отражена особенность русского литературного «физиологизма» и, соответственно, его принципиальное отличие от предшествующего ему французского аналога.

Идейную установку литераторов французской физиологической школы в наиболее четком виде сформулировал Ж. Жанен в предисловии к изданию «Французы в их собственном изображении». «Мы хотим только найти способ оставить после себя следы того, что называем частной жизнью народа. Мы должны подумать о том, что когда-нибудь наши внуки захотят узнать, кем мы были и что мы делали в наше время; как мы были одеты, какие платья носили наши жены, какими были наши дома, наши развлечения, наши привычки что понимали под красотой. О нас захотят узнать все: как мы садились на лошадь, как были накрыты наши столы, какие вина мы предпочитали» [133, 178–179]. С этой «куцей программой», как справедливо охарактеризовал ее исследователь предмета [62, 89], программой, ставящей хотя и исторически важную, но локальную, частную задачу отразить бытование класса добропорядочных французских буржуа, в нравственном отношении вы-

годно контрастирует высказывание Вал. Майкова, которое вполне можно воспринимать как программу для литератора русского физиологического направления: «Настает другая эпоха: в ходу бесконечные муки сомнения, страдание общечеловеческими вопросами, горький плач на недостатки и бедствия человечества, на неустроенность общества, жалобы на мелочь современных характеров, торжественное признание своего ничтожества и бессилия; проникнутые лирическим пафосом воззвания на доблестный подвиг, стремление к вечному идеалу, к истине... — вот что теперь в ходу!... Таков дух времени!» [70, 129].

Пожалуй, лишь коннотация «проникнутые лирическим духом воззвания» может несколько смутить наше теперешнее просвещенное сознание, в котором аксиоматически закреплено неприятие лиризма авторами физиологий, но ларчик в данном случае открывается просто: подвигло Вал. Майкова на программное по духу высказывание стихотворение Плещеева, отчего возможно предположить, что посредством плещеевских ритмов и рифм естественный для поэзии лиризм таким «партизанским» образом проник в сознание Майкова, а оттуда — в написанные им по горячим следам строки...

Для физиологического очерка также характерны:

- внимание к деталям;
- интерес к курьезным объявлениям и надписям;
- интерес к речевым характеристикам персонажей (арго, жаргоны и т.п.);
- преобладание изображения реальности над художественным вымыслом;
- ирония, временами достигающая уровня сарказма. Характерно, что этот троп интенсивной эмо-

циональной окраски чаще характеризует писателей менее художественно и социально значимых, нежели литераторов первого ряда. У последних ирония и сарказм уступают место прямому социальному изобличению, как это можно наблюдать в творчестве Ф.М. Достоевского, создавшего в ряде произведений яркую и правдивую «физиологию» Санкт-Петербурга, прежде всего, с точки зрения его парий, отверженных.

Характерны стиль и лексический состав русского физиологического очерка, которые, прежде всего, обусловлены темой описания. Среди тем преобладали быт городской среды, какое-либо лицо, характерное своей принадлежностью к определенной профессии или среде (торговец, приказчик, извозчик, трактирщик, разносчик, шарманщик, дворник, сваха и т.д.). Стремясь к наиболее реалистическому показу действительности, авторы очерков намеренно насыщали их жаргонной и просторечной лексикой и фразеологией, которая, по их мнению, способна была адекватно отразить описываемую реальность. Часто используемые авторами физиологий просторечные, профессиональные, жаргонные слова и выражения выходили за границы узаконенной литературной лексики и, даже введенные в текст, оставались, так сказать, выразительными средствами одноразового использования. Одновременно с этим очерковые физиологии внесли свой заметный вклад в развитие русского литературного языка. Как считает автор фундаментального исследования лексики и фразеологии физиологического очерка Н.С. Авилова: «проникая в язык художественной литературы, насыщая его словами и выражениями, употреби-

тельными в разговорном живом языке низших слоев населения, описанная лексика расширяла границы литературного языка, вводила в его состав новые слова и выражения» [1, 165].

### 3.1. Физиологические очерки Н.А. Полевого и И.Т. Кокорева

Первым писателем, которого без оговорок можно отнести к очеркистам физиологического направления, стал Николай Алексеевич Полевой. Свою задачу литератора он видел в том, чтобы «показывать пороку и глупости простое зеркало, в котором видели бы они уродливые свои хари» [81, 24]. В творческом методе он в большей мере, чем кто-либо из современных ему отечественных литераторов, опирался на достижения сформировавшейся традиции французских «физиологий». Достоверно известно, что Полевой не просто читал альманах «*Le diable boiteux, ou le livre de 101*», вышедший в 1831 г. в Париже, а, как принято выражаться в наши времена, серьезно «проработал» его. В итоге в издаваемых им журналах опубликованы переводы статьи Жанена об «уличной промышленности» Парижа («Московский телеграф») и два очерка (переводной и оригинальный, пера самого Н. Полевого) о мелкой промышленности Парижа и Москвы, объединенные в единый журнальный раздел: «Москва и Париж в мелкой живописи нравов» («Новый живописец»).

Подобно высоко чтимому им Галлю, Н. Полевой стремится «судить о человеке по черепу», т.е. о целом — по его значимой детали. Подробно и всесто-

ронне изучает с этой целью метафорический «череп» Парижа — его «мелкую промышленность», живописует при этом специфику парижских улиц, экзотических профессий парижского дна и даже промыслов полууголовных личностей.

Столь же остроумно и увлекательно Полевой изобразил в аналогичном ракурсе современную ему Москву. В очерке «Мелкая промышленность, шарлатанство и диковинки московские» [81, 256] он одним из первых предлагает читателю в зачине текста **данные московской статистики**, характеризующие исследуемый город. Для удобства восприятия и последующего оперирования мы поместили эти данные в табл. 1.

*Таблица 1*

**Данные московской статистики**

<i>Площадь</i>	<i>Домовладения</i>	<i>Население</i>
64 кв. версты	10000 домов	Более 300 000 человек. Из них:
		20 000 подьячих
		12 000 цеховых
		47 000 мещан
		3000 иностранцев
		50 000 крестьян
		70 000 барских людей

Как видно из табл. 1, «потерянными», не учтенными в ней оказались 98 000 человек, 1/3 заявленного населения Москвы. Их Полевой относит к тем жителям, «кто живет в Москве, не имея ни перед собой, ни за собой, ни приюта, ни какого средства жить, кроме двух рук с прибавкою желудка, кото-



рый надобно чем-нибудь насытить, и головы, которую надобно преклонить куда-нибудь» [81, 266].

Рассуждая далее о заявленной теме — мелкой промышленности московской, Н. Полевой, подобно социологу более поздних времен, классифицирует исследуемый предмет, по собственному меткому выражению, на «три этажа»<sup>12</sup>. Наиболее престижный из них — бельэтаж занимают «большие торговцы, фабриканты, заводчики, поставщики, откупщики, подрядчики со своими огромными капиталами, обширными заведениями, превосходными изделиями, конторами, магазинами» [81, 259]. На первом этаже, внизу социальной лестницы, процветает «деятельность мелкая, часто одноручная, всегда пестрая, подстрекаемая нуждою, голодом, холодом, жаждою: тут цеховой, ремесленник, кустарник, разносчик, развозчик, переносчик, лоскутник — копейка вертится, катится ребром; телега заменяет обоз; короб служит магазином» [81, 260]. Верхний этаж по воле Н. Полевого занят шарлатанством всякого рода, «всем тем, что промышленяет без миллионов и копейки, без магазинов и телеги, без станка и шила. Тут фокусники тела и ума, аферисты, плясуны, прыгуны на карман ближнего и на веревке, прожектеры на деле и на бумаге компании бывают убраны хорошо и худо; пьют то шампанское, то воду; торгуют всем — даже смехом и слезами ближнего, веселятся в печали, печалются в радости» [81, 260].

---

<sup>12</sup> Плодотворным оказалось сравнение социально-производственной структуры общества с домом. До Н. Полевого его, как мы помним, использовал Одоевский, а еще ранее — француз Ж. Жанен.

Воссоздав экспозицию, Н. Полевой приглашает читателя на прогулку по центру московской торговой жизни: Китай-город, Воскресенские ворота с облюбовавшими это место «ходателями», охотнорядские и другие рынки. Он вводит читателя в московские дома, дает меткие характеристики учителям, представителям других профессий, живописует натюрморт изысканных яств на званом обеде. В его изложении новыми изобразительными возможностями обогащается язык. Полевой искусно оперирует технической терминологией, широко использует арго и жаргоны московских улиц (табл. 2). «Мир мелкой промышленности имеет свой словарь, до сих пор не собранный. У всякого мастерства, у всякого ряда, у всякого товара есть своя *техническая терминология*» [81, 286].

Таблица 2

**Профессиональная терминология  
московских торговцев**

<i>Наименование товара</i>	<i>Профессиональные определения (техническая терминология)</i>
Солод	Свежий, чистый, рощеный, молотый, без примеси
Горох	Сухой, свежий, не гнилой, нечервоядный, без запаха
Крупа	Не затхлая, не солоделая
Сухари	Добротные, выпеченные, неподгорелые, без закала, выквашенные
Мясо говяжье	Свежее, битое из живой жирной скотины, без голов, голяшек, зарезов и хвостов, необрезное

Важно отметить, что именно очерк 40-х гг. освободился от установки на сенсации, на отыскание «тайн» в духе романов Э. Сю и, как говорится, двумя ногами опустился на грешную землю. Объясняется это тем, что открытие социальных контрастов путем их отображения в очерке совершалось не со снобистских позиций аристократа-филантропа, как у того же Э. Сю, а с позиций русского писателя, в массе своей тяготеющего если еще и не к выраженной демократичности, то, по крайней мере, к весьма прогрессивному народничеству. При таком ракурсе тайны оказывались весьма простыми, будничными, без нагнетания приключенческого, уголовного элемента. Уже упомянутый нами И.Т. Кокорев иронизировал по этому поводу: «Со времени появления “Парижских тайн” у многих появилась смертная охота бродить по самым глухим закоулкам, в надежде натолкнуться на какую-нибудь “тайну” и испытать сильное ощущение, которое они находят только за карточным столом да в опекуновском совете» [54, 73].

Ирония И. Кокорева основывалась на доскональном знании им предмета. Сын бедного крепостного отпущенника, «Он не издали, не в качестве дилетанта народности, не в часы досуга, не для художественного наслаждения наблюдал и воображал жизнь бедняков, с горем и часто грехом пополам добывающих кусок хлеба. Он сам жил среди них, страдал с ними, был с ними связан кровно и неразрывно» [37, 287–295].

Если добавить, что и автор «Мелкой промышленности, шарлатанства и диковинок московских» Н. Полевой по происхождению являлся купеческим

сыном и прекрасно разбирался в особенностях торговли и ремесел, то станет очевидным, что *такие* русские писатели просто не могли в качестве литературного метода отражения отечественной реальности предпочесть традиционному на тот период очерковому реализму заимствованные у иностранцев фантазийство и мистицизм.

Так в чем же суть мелкой промышленности московской? Н.Полевой раскрывает ее в блестящем, на наш взгляд, социально-психологическом пассаже, который, учитывая важность его для всего исследования, приводим тут целиком.

«...по Ильинке, между входами в ряды и большими лавками, везде втиснуты маленькие убежища мелкой промышленности: лавки аршина по два ширины, на самых тычках, и за их прилавками расставлены чай, сахар, кофе, китайские ящики, сделанные в Москве. Каждый проходящий носом уткнется в них, и ловкий оборотливый продавец не пропустит мимо себя мухи, не только человека. Вообразите, что в такой лавке всего товара бывает на тысячу рублей и что продавец от лавки своей сам сыт, прокармливает семью, держит мальчика — ловца проходящих, прекрасно одет, и если вы купите у него что-нибудь, он пошлет с чайником в трактир, за горячею водою, поподчивает вас чаем, и вы можете беседовать с ним, как древний афинянин на торжище, о городских новостях, о политике, о театре, смотреть между тем на проходящих и в то же время вкушать китайский нектар, как будто в диванной богача.

Прибавьте, что за наем такой лавки платят по 1000, по 2000 рублей в год. Вот промышленность, возможная только в Москве! Она основана на лени чело-

веческой, потому что покупатель всегда попадает в первое место, куда его приглашают, и при бесчисленном множестве маленьких продаж тысяча рублей вертится колесом, и в год окупит двухтысячную лавку, и все расходы торговца. Не с одним чаем и сахаром есть в городе такие лавочки, прилавки и шкапики; их найдете с галантереєю, лентами, игрушками, стальными вещами, шелковыми, бумажными товарами. Ловкость, умение торговать — непостижимые!

Тамбовская помещица, в первый раз с роду приехавшая в Москву, подходит к такой лавочке: ей кланяются, называют ее по имени, которое успели уже выспросить у Фалалея, слуги ея; она спрашивает товара, которого никогда не было в лавочке. Тотчас посылают за им в *запасную палатку*, которая вовсе не существует: товар возьмут у соседа, в другом ряду, и продадут за свой, а с соседом после сочтутся.

Чутьем узнают: любите ли вы торговаться, умеете ли покупать, знаете ли толк в товаре, — и будут с вами честны, тихи, болтливы, решительны, медленны, распознавши ваш характер, склонности и способности... И так существует торг лавочек, прилавков, шкапиков, углов, корзинок, коробок на тысячу манеров <...>»[81, 287—290].

Те, кому довелось наблюдать в Москве перестроечное и постперестроечное лихолетье 80—90-х гг. минувшего века, имели возможность убедиться, как оказалась похожа — естественно, *mutatis mutandis*,<sup>13</sup> — ситуация тогдашнего тотального «дикого» торжища на описанную Н. Полевым картину торговой Москвы середины позапрошлого века! Чего стоят одни только

---

<sup>13</sup> С соответствующими изменениями (*лат.*).

упомянутые Н. Полевым «китайские ящики, сделанные в Москве», по нынешней терминологии — «самопальный» котрафакт, который с тех пор буквально заполонил торговлю русской столицы...

Статистика, систематизированные наблюдения, классификация составляющих исследуемого явления, выводы экономического свойства, психологические характеристики персонажей... Если текст Н. Полевого «Мелкая промышленность, шарлатанство и диковинки московские» еще и не социологическое исследование само по себе, то, бесспорно, почти вплотную приблизившаяся к нему социологизированная документальная литература...

Ранее, в новогоднем «Письме к живописцу», который сокрыт Н. Полевым под инициалами «М.Г.», нетрудно разглядеть то этапное зерно научно-статистического подхода, без которого невозможно было бы возникновение социологии в современном понимании термина.

Автор в традиции новогоднего поздравления желает своему корреспонденту доброго здоровья, приисовокупляя при этом «кое-какие заметки и советы». В чем же они заключены?

«Подарим же добрым людям в Новый год — не желание богатства, славы, знатности, исполнения прихотей и вещей разнородных разномодных — одарить их желаем, чтобы они научились повернее считать, начиная с 1-го дня января и продолжая через целых 365 дней 1830 года, а потом и далее хоть 80, хоть 100 лет, чем больше, тем лучше» [81, 5—6].

Далее в благодушно-ироничном тоне Н. Полевой создает панегирик *счету*, в озарении снизошедшего на него провидения предвосхищая тем самым насту-

пление (тогда еще весьма нескорое!) века точных статистических наук, следовательно — и времени социологических исследований. Поражает почти буквальное прозрение *века цифровых технологий*, к которому человечество на недавно преодоленном им рубеже веков и тысячелетий только-только подобралось.

«Касательно же моего желания и доброго совета *учиться считать*, то, право, не за что сердиться никому. Опытom долголетней жизни убедился я, что едва ли не две трети зла и худа происходит от того, что люди не *хотят* или не *умеют* считать. О, считанье, считанье! О, счет, счет! Блажен, кто понимает вашу важность! **Будет такое время, что все важнейшие истины приведутся в числа, и тогда-то наступит век не *золота*, а *цифры*; этот век будет истинно блаженный, и получше хваленного *золото*, когда люди вовсе считать не умели...**» (выделено мной. — *Авт.*) [81, 6—7].

Далее на пространстве трех страниц следуют авторские расчеты... «чистой» жизни среднего современника Н. Полевого, если вычесть из его среднестатистических 60-ти лет все нарочито предельно гиперболизированные автором «нечистые» траты времени.

«Вычтем сон, <...> вычтем на обед и ужин, на время, когда мы голодны, когда мы сыты (и в том и другом случае мы едва ли живем), на проходы, переходы, приходы, выходы...

**Дальнейшие вычеты:**

- на болезни свои и чужие — 5 лет;
- на досады, печали и огорчения, свои и чужие — 5;
- на смех — 1;

— на глупости, хоть по часу в день, но для круглого счета уменьшим и положим — 2;

Получается — 1,5 года.

Кого не заставит задуматься такой расчет? Кого не принудит он дорожить жизнью?» — шутейно задается вопросом автор. Шутейно потому, что при всем обилии непроизводительных трат времени так называемому среднестатистическому человеку остается, конечно же, более полутора лет жизни осмысленной, содержательной. Однако, как мы уже отмечали выше, если хочешь достичь желаемого эффекта внушения, следует преподать материал в гиперболизированном виде. Только вот сколько все же в расчетах Н. Полевого новогодней шутки, а сколько — глубокого мудрого предупреждения о скоротечности людской жизни и необходимости максимально толково распорядиться ею?..

Мы рвемся ввысь и ползаем в пыли,  
Но пусть всегда, везде горит над всеми:  
Вы — временные жители Земли,  
Так берегите, люди, время!<sup>14</sup>

Завершается «Письмо...» грустной шуткой в общей стилистике этого маленького шедевра. Грустной, ибо из далекого 1830 г. она прямоком переносит нас в день нынешний, в очередной раз заставляя крепко задуматься о неспособности наших соотечественников извлекать пользу из уроков истории.

«Кстати, например, хотите ли узнать честность судьи? — задает риторический вопрос Н. Полевой, и сам

---

<sup>14</sup> Стихи Наума Коржавина.



же уничижительно для современного ему общества отвечает на него: — Сведите у него приход с расходом, и — честность его выйдет на чистую воду» [81, 12]...

Конечно, это еще никакая не «социология противодействия коррупции» — социологическая дисциплина, активно развивающаяся в нашем Отечестве и по всему миру, особенно в последние годы, но... все же, все же...

На наш взгляд, уместно в контексте данного исследования особо обратить внимание читателя на характеристическую для Н. Полевого работу «Русская Библионика, или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики и древней русской литературы», которая впервые вышла в свет в 1834 г. В пояснительном замечании издателя Библионики автор, точнее — составитель, так объяснил свое решение предпринять такое издание. «Цель сего издания: сохранить от гибели древние и старинные письменные памятники, касающиеся русской истории, географии, статистики, археологии и литературы; доставлять любителям русской истории и старины средства печатать и делать известными современникам и потомству хранящиеся у различных особ в разных местах памятники, могущие погибнуть и потеряться. Скажу одно: совершенное бескорыстие руководствовало мною в сем предприятии; безденежно предполагал я рассылать подписчикам “Телеграфа” Библионику и продажей остальных экземпляров вырывать только издержки на бумагу и печатание оной <...> для историка все любопытно, а для любящего свое отечество все драгоценно.» [96, 408–413]

Вслед за Н. Полевым пригласим на авансцену нашего исследования Ивана Тимофеевича Кокорева с

физиологическим очерком «Мелкая промышленность в Москве», предполагая, что его заметки продолжат, разовьют, конкретизируют изыскания Н. Полевого на эту же тему. Для такого рода предположения у нас имеются самые веские основания. Как утверждает исследователь творчества И.Т. Кокорева белорусский ученый В.П. Иванов, «писатель чутко уловил зарождение в стране новых, капиталистических отношений и затронул эту проблему в ряде своих произведений. Нельзя не удивляться его трудовому подвижничеству. За короткое время (6–7 лет), загруженный каждодневной работой в журнале, он написал 11 очерков, три рассказа, составивших цикл “Русское сердце”, два фельетона и две повести (“Сибирка” и “Саввушка”), 50 журнальных заметок и 43 рецензии на отдельные книги. Важно отметить, что в предполагаемой большой серии очерков о Москве внимание писателя должно было сосредоточиться на разнообразных слоях столичной бедноты» [40, 18–28].

Итак, И.Т. Кокорев, «Мелкая промышленность в Москве»...

«Две промышленности ведутся в Белокаменной: одна — блестящая, казовая, занимающая сотни тысяч рук, двигающая сотнями миллионов рублей; другая, не в обиду ей сказать, грошовая; одна одевает и убирает почти всю Россию, шлет свои изделия к “стенам недвижимого Китая” и в “пламенную Колхиду”; знают о ней и степной хивинец, и красноголовый (*кизильбаши*) персиянин; другая идет лишь для домашнего обихода, известна одним коренным жителям столицы», — разворачивает экспозицию промышленности московской очеркист и сразу заявляет предметом своего исследования промышленность «другую». Ту,

«...которая отроду не учась ничему, берется почти за все, у которой нет ни фабрик, ни заводов, что, впрочем, не мешает ей быть необходимым чернорабочим для многих из них, которая, наконец, существуя везде, нигде не оставляет прочных, явных следов своего бытия, не подлежит никакому контролю, не упоминается ни в одной статистике» [54, 65].

Мелкая промышленность — по классификации Кокорева — это даже не ремесленничество, само по себе не обеспечивающее работнику постоянной занятости и малоприбыльное. Но даже такому жалкому положению, как уверяет очеркист, завидуют сотни и тысячи делателей мелкой промышленности.

Снова, как в случае с очерком Н. Полевого, уложим в системную таблицу, классифицированную по своему Кокоревым, мелкую промышленность московскую (табл. 3).

В дополнение к перечисленным в табл. 3 занятиям мелкой промышленности московской отметим, что цивилизация лишила ее двух постоянных отраслей летнего дохода: до изобретения фосфорных спичек мелкая промышленность московская собирала в лесах трут, запасалась кремнями, делала нехитрые серные спички и снабжала этими товарами, по крайней мере, половину столичных хозяек [54, 77].

Из табл. 3 становится ясно, что деятельность мелкой промышленности московской времен И. Кокорева в основном заключалась в обслуживании более состоятельных городских сословий. Запросы горожан, которые удовлетворяла мелкая промышленность, можно отнести скорее к над- и сверхнормативным, к увлечениям, а то и страстям досуга, другими словами — к «баловствам», капризам.

*Таблица 3*  
**Род деятельности и сбыт мелкой промышленности Московской**

<i>Соц. происхождение действующих предприятий</i>	<i>Род занятия</i>	<i>Место труда</i>	<i>Сбыт</i>	<i>Спорадические занятия (осень — зима)</i>
Вольноотпущенные крепостные	Сбор раннего щавеля, крапивы, земляники, грибов	Останкинская, Марьяна рощи, городские парки, окрестные леса	Рынки	Приобретение на бойне (даром) требухи, сычуга, а то и целого гусака
Вдовы с детьми	Сбор трав, кореньев, почек	— // —	Аптеки и травяные лавки	Тщательная прорывка уже копаных грядок огородников (с разрешения последних)
Совращенные мещане (пьяницы)	Сбор дубовых листьев для соления огурцов	— // —	Рынки, городские солильни	Заготовка хвороста
Артисты (музыканты)	Добывание муравьиных яиц для соловьев	— // —	Птичий рынок	Сбор костей, тряпья, стекел
Отставные солдаты	Ловля рыбы	Реки, озера, пруды	Рынок, трактиры, рестораны	Работа прачкой, швейей
	Ловля певчих птиц	Останкинская, Марьяна рощи, городские парки, окрестные леса	Птичий рынок, дома известных любителей птиц	Перетирка табака

	Вязание цветочных букетов на Троицын день	— // —	Рынки, торговля с рук	Починка обуви
	Заготовка травяных венчиков для очистки платья	— // —	— // —	Изготовление домиков для чижиков
	Торговля вразнос «самоварами» (чаем)	Гулянье, кладбище, городской парк	Марьяна роща, Перово, Петровско-Разумовское и т.п.	Изготовление примитивных игрушек
	Торговля вразнос яблочным класом, сладостями	Перекупка по окрестным селениям	Обжорный ряд, Дворянская кухня, торговля на своих «избранных местах» бойких улиц	Изготовление ваксы
	Торговля драченою, студнем, широжками		— // —	Разукрашивание цветными лоскутами вербы
	Торговля «комплексным обедом» по 10 коп.		— // —	Разрисовывание пасхальных яиц
				Дрессировка птичек
				Исполнение песен на торжествах, изготовление наряда невесты, обряжение ее под венеч

Хлеб насущный изо дня в день поставлялся к столу горожан *промышленностью большой* — пекарнями, мясными рядами, зелеными лавками, торговлей молоком и молочными продуктами и т.д., а вот за поставку сезонных лакомств (раннего щавеля, салатной крапивы, грибов, лесных ягод и т.д.) брались делатели мелкой промышленности. То же относится ко второму по значимости после продуктов питания сегменту городских потребительских запросов — одежде. Массовый спрос москвичей на нее обеспечивало сообщество портных, обувщиков, белошвеек и т.д., а сообразить наряд для невесты, оригинально и красиво убраться под венец брались делатели малой промышленности. Естественно, речь не шла о невестах и свадьбах из высших слоев общества, малая промышленность московская помогала тем, кто не был в состоянии заказать свадебный наряд у модного портного, а то и выписать его из Парижа или какой другой европейской столицы.

Необязательный характер указанных выше и подобных им запросов имел следствием неустойчивый заработок для их исполнителей. Реальные материальные затруднения у горожан в первую очередь отсекали заказы, обеспечивающие прокорм делателям мелкой промышленности; всякого рода чрезвычайности и связанный с ними режим экономии самым пагубным образом сказывались на исследуемой нами социальной страте.

При этом неверным было бы, на наш взгляд, считать труд мелкой промышленности примитивным, не требующим знаний и навыка. Даже простое лесное собирательство предполагает, как ми-

нимум, хорошую ориентацию в соответствующей флоре и фауне, пусть и примитивное, зачаточное, но *ботаническое* и *физиологическое знание*. Требование это в первую очередь относится к сбору грибов. Здесь дилетантство и недостаточная ответственность сборщиков способны нанести серьезный урон здоровью потребителей грибной продукции. Добавим необходимость свободно ориентироваться в лесном или парковом массиве, знать и запоминать особо изобильные на промысел территории, водные акватории (топографические знания), обладать *технологией сбора*, соответствующим *инструментарием*, навыком первичной консервации, благодаря чему и возможно сохранять заготовленный товар в максимально свежем виде вплоть до окончания его реализации.

Конечно, элементарную починку бедняцкой обуви (для мещан и более высоких городских сословий на этот случай имелся профессиональный сапожник), перетирку табака и изготовление ваксы не назовешь технологически сложными ремеслами, однако, наряду с этими видами деятельности, мелкая промышленность московская, как видно из реестра И. Кокорева, бралась за исполнение заданий куда как более сложных, требующих помимо навыка еще и *художественной предрасположенности* (чтобы не сказать — таланта, дарования). Это и разукрашивание цветными лоскутами вербы к Пасхе, и роспись пасхальных яиц, и исполнение песен на торжествах, и уже упомянутое обряжение под венец невесты и, наверняка, еще ряд иных подобных занятий, оставшихся вне поля зрения И. Кокорева.

Обратим особое внимание на бесспорно позитивные качества (по Кокореву) делателей малой промышленности московской. Это:

— *субсидарность*<sup>15</sup>, достигнутая напряженным трудом и сохранением в городских условиях элементов крестьянского уклада (свой огород подле слободского домика, хлев при нем с коровой, птицей и прочей живностью и т.д.), что обеспечивает им пусть и относительную, но самостоятельность и независимость;

— *трудовай универсализм*, заключавшийся в том, что, в силу сезонности и малой доходности каждого по отдельности из приведенного И. Кокоревым реестра занятий для пропитания, безымянные герои его очерка не специализировались на каком-то из них особо, а старались (и, как видим, небезуспешно) овладеть как можно большим числом навыков и ремесел, дабы расширить диапазон своей трудовой деятельности и, таким образом, увеличить заработок. «только успевай подвертываться, если не хочешь поссориться с желудком; берись за все, что ни случится, являйся всюду, где можно пустить в оборот свою сметливость, трудись без усталы и хлопчы до упаду» [13, 81].

Лев Толстой, рассуждая о русском крестьянстве, заметил как-то, что для нормальной, общепринятой в сельской общине жизни русскому крестьянину необходимо владеть примерно тремя десятками ремесел и трудовых навыков. Подобный универсализм сохранили и герои И. Кокорева — в основном вчерашние крестьяне, приспособив его к особенностям городской среды;

---

<sup>15</sup> Самообеспечение.



— *психологизм*, который наиболее убедительно и ярко живописует И. Кокорев в той части очерка, где речь идет о «торговле самоварами», т.е. торговле чаем вразнос. «В праздник, в знойный полдень пойдите в какое-нибудь из московских предместий, — приглашает читателя И. Кокорев, — и здесь вы наверно встретите не одну группу вроде следующей: пожилая женщина несет объемистый самовар, мужчина — в одной руке ведро, в другой кулек с углями; двое детей тоже идут не порожняком: у кого бутылка с молоком, узелок с чашками, у кого скамеечка или домашний запас пищи. Гостей зазывает всегда нежный голосок девочки или приветливая речь самой матери. Просим милости, господа, садитесь, где заблагорассудится (на что лучше, как не здесь, на зеленой мураве, под тенью развесистой березы); кушайте, сколько душе угодно; пейте не спеша, с прохлаждением наслаждайтесь невинным сельским удовольствием под отдаленные напевы голосистого хоровода, под рассказы хозяина, который, как присяжный служивый, не проминует обстоятельно доложить вашему благородию, в каких походах и баталиях был он...» [54, 69—70]. Воистину *так* обслужить клиента способны лишь опытные в общении с земляками делатели мелкой промышленности московской, *стихийные психологи*, тонкие знатоки человеческих душ.

Важно отметить, что, показывая с явным сочувствием к своим героям и, скорее всего, неосознанным, патриархальным менторством по отношению к читателю не работу даже, а каждодневную борьбу за выживание делателей мелкой промышленности

московской, автор, где только удастся, отмечает их природную русскую домовитость, строгость и трепетность в исполнении религиозных обрядов и уважительное следование исконно русским нравственным императивам. «Порядок удивительно как скрывает темные пятна нищеты, а бережливость дает мелкой промышленности средства позволить себе иногда кое-какие удобства в жизни. Редкий день пройдет без чаю; в праздник непременно являются пироги или какое-нибудь сверхштатное кушанье; но, с другой стороны, в этот же день последний гривенник употребляется на покупку деревянного масла для лампы перед иконами, на свечку в Божьей церкви — и ни один нищий не отойдет от окна человека не многим богаче его без посильного подаяния...»

Интересны приведенные И. Кокоревым рассуждения действователей мелкой промышленности московской по поводу того, отчего они — по самому характеру своей деятельности инновационно настроенные работники — оказываются столь консервативными, когда речь заходит об освоении навыков для последующего коммерческого использования уличных представлений, того, что позже Бахтин назовет «карнавалом улицы».

«При речи о райках, очень естественно, рождается вопрос, почему же мелкая промышленность не возьмется за разные фиглярства, не вступит в компанию с шукарями, не выдумает каких-нибудь представлений? Ответ будет решительный и ясный. Это дело тальянцев и немцев: они *облизьяну выдумали*, блох обучили плясать, лошадь часы узнавать, собак *муштруют*, свинок морских, словно невидаль какую,

показывают, шарманкой да волынкой кормятся; а русский человек, как ни беспечен, совестится быть дармоедом, приобретает хлеб подобными средствами, считает недостойным себя пуститься в комедианство» [54, 72–73].

Ощущается, что в целом отстраненно-объективный автор в данном вопросе сочувствует обездоленным соотечественникам, способным и почти что на социальном дне сохранять человеческое достоинство и гордость, с уважением воспринимает их возвращенные на национальной традиции доводы, поддерживает их «невыгодные» в мирской жизни нарождающихся капиталистических отношений принципы.

Отметим также важный для нашего исследования момент: отношение своих героев к участию в «райках» автор очерка берется выяснить способом, который в современной социологии называется «методом опроса или интервью». Это еще одно подтверждение нашей гипотезы о том, что **в генезисе отечественного социологического исследования находится русский физиологический очерк, а гуманитарные науки в целом — литературодетерминированы.**

О близости (временами почти до тождественности!) литературного творчества И. Кокорева тому исследовательскому методу, который позже назовут «социологией», свидетельствуют также его статьи «Успехи образованности в Новороссийском крае» [78, 49–52]) и «Разыскания в архивах об Архангельском порте» [77, 99–101]. Статьи эти по какой-то причине вышли в свет без указания фамилии автора, но из переписки И. Кокорева с редактором «Москвитянина» М.П. Погодиным [29] становится ясно, что автор их — И.Т. Кокорев...

И. Кокорев отдает себе отчет в том, что очерк его «Мелкая промышленность Москвы» неполон, что созданная им картина мелкой промышленности столицы весьма фрагментарна, что о некоторых действителях он даже не упомянул. Впрочем, заключает очеркист: «Я хотел изобразить только тех людей, которых “нужда научает и калачи печь”. У кого есть одно постоянное занятие, ремесло ли, торговля ли, кто, как говорится, век свекует в одном гнезде, — те не входили в мою раму<sup>16</sup>, ибо об них следует говорить наряду с крупной промышленностью» [54, 77].

Не входила в «раму» И. Кокорева наряду с крупной промышленностью также «еще одна промышленность, которую я назову темной, потому что она живет и действует в темноте, прячется от добрых людей, словно летучая мышь; и не бойся я оскорбить ваш вкус, мы бы познакомились и с ней» [54, 77].

Отказав читателю в обстоятельном знакомстве с *промышленностью темной*, И. Кокорев все же слегка приподнимает завесу над входом и в этот мир, населенный уголовниками, которые называют друг друга *физиками, механиками, гранилами*, а в презрительном смысле — *жуликами семикопеечными* и *мазуриками*. От этой короткой экскурсии нам остается малый словарь жаргона карманников, который мы поместили в табл. 4.

---

<sup>16</sup> Как свидетельствует архив рано ушедшего из жизни писателя, свою «раму» он намеревался существенным образом дополнить, обратившись к описанию рабочих профессий: наборщика, переплетчика, красковара, столяра, свинцоволитейщика, механика и т.д.

Таблица 4

**Слова из наречия (jargon)  
карманных промышленников**

<i>Жаргонное слово</i>	<i>Общепотребительное слово</i>
Лафа	Пожива
Стрема	Неудача
Петух	Сторож
Бабки	Деньги
Шмель	Кошелек

Можно лишь сожалеть о том, что за пределами писательского внимания И. Кокорева оказались также московские нищие: неплохо организованное, жестко структурированное *профессиональное сообщество*, оказывающее значительное влияние на бытование столичного «низа» и «подполья». Влияние этого сегмента московского социума уже непосредственно на все население Москвы возрастало столь стремительно и последствия его оказывались столь угрожающими, что «18 мая 1898 г. в заседании Комиссии, учрежденной при Министерстве юстиции для разработки вопроса о мерах борьбы против профессионального нищенства и бродяжничества, было признано необходимым озаботиться собиранием материалов, могущих выяснить причины развития нищенства в России, а также указать средства для его уменьшения» [65, 1]. Среди необходимых мер Комиссия определила «обозрение русской и иностранной литературы» по вопросу нищенствования. Так что обрати в свое время И.Т. Кокорев более пристальное и действенное внимание на эту социальную страту — московских нищих, заточи он на них свое перо очеркиста, и, можно не сомневаться, что госпо-

дам членам Комиссии при знакомстве с «обозрением» было бы гарантировано увлекательное и во всех смыслах полезное чтение...

Однако удовлетворимся авторским отбором объектов изображения и с благодарностью незаурядному очеркисту<sup>17</sup> за яркие живые впечатления от очерков московской жизни середины позапрошлого столетия (некоторые из них, как, например, очерк «Публикации и вывески», в котором на конкретных примерах московских торговых вывесок и объявлений показано наше бездумное преклонение перед иностранщиной, в данном случае — лингвистической, речевой, — словно списаны с нынешней нашей печальной реальности) отправимся далее.

Жизнь тех социальных пластов, которые изображали Н.А. Полевой, И.Т. Кокорев и другие литераторы физиологического направления, впоследствии с большей полнотой будет представлена в текстах беллетристов-народников — «художников-социологов», по определению Плеханова. Обратят на них внимание первые русские ученые-социологи, в частности Н.Флеровский (В.В. Берви) — автор первого отечественного прикладного социологического исследования «Положение рабочего класса в России» и М.И. Туган-Барановский в своем фундаментальном исследовательском труде «Русская фабрика в прошлом и настоящем».

---

<sup>17</sup> Высоко ценил И.Т. Кокорева и В.И. Ленин, в словах которого содержится не только оценка таланта очеркиста, но и конкретное указание советскому книгоизданию: «Вот таких писателей мы должны вытаскивать из забвения, собирать их произведения и обязательно публиковать отдельными томиками. Ведь это документы той эпохи» [16, 699].

#### 4.1. Очерковые «физиологии» в творчестве русских писателей-классиков

К «физиологиям» тяготели и русские писатели, так сказать, «первого ряда»: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — чей вектор устремленности к этому жанру был прямо противоположного свойства, нежели у отмеченных выше авторов. Если «чистые» очеркисты пришли к физиологическому очерку от романтической сатиры, то русские литературные классики, уже в те времена воспринимавшиеся читающей публикой таковыми, как бы совершали шаг в сторону и в чем-то даже назад, отступая от более высокого уровня литературного развития — реализма, основоположниками которого в отечественной изящной словесности справедливо считались. К тому же для них, в отличие от современных им очеркистов типа Н. Полевого, этот жанр не являлся основным и уж тем более — исчерпывающим. Вряд ли отыщется в их творчестве существенное количество произведений, которые целиком можно было бы отнести к интересующему нас жанру. Чаще всего *приметы, фрагменты* «физиологического подхода» органически встроены в их прозаические тексты, создавая столь необходимые повествованию картины, зарисовки бытования и нравов литературных героев.

И даже эти вкрапления, фрагменты, казалось бы, вспомогательные элементы общей прозаической конструкции были высоко оценены уже В. Белинским. «Неистовый Виссарион» прямо указывал на большое значение «физиологических» компонент

во всестороннем и правильном понимании условий жизни России, населяющих ее народов и этнических групп, более полном и всестороннем восприятии и понимании того исторического, культурного, поведенческого и т.п. феномена, который мы определяем как русский национальный характер. «Кто лучше может познакомить читателей с особенностями характера Русских и Малороссиян, если не Гоголь? <...> Хотите изучить Москву, не в ее временных или случайных чертах, а в ее духе? — читайте “Горе от ума”. В “Мертвых душах” вы узнаете русскую провинцию, как не узнать бы вам ее, прожив в ней безвыездно пятьдесят лет сряду. В “Онегине” вы изучите русское общество в одном из моментов его развития; в “Герое нашего времени” вы увидите то же самое общество, но уже в новом виде» [12, 13].

Очевидно, что Белинского-критика живо интересовал буквально на его глазах формирующийся очерковый жанр — «русская физиология». Но при этом у нас есть все основания ввести Виссариона Григорьевича и в круг русских писателей-«физиологов». Он причастен к этой литературе не только своими статьями и рецензиями, содержащими оценку издания Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» и сборников Некрасова, очерков Булгарина, Даля, Панаева и др. Белинский был не только критиком русских «физиологий», но и создателем ряда примечательных образцов этого жанра. Им было написано, помимо программного вступления к «Физиологиям Петербурга», три очерка для этого сборника: «Петербург и Москва», «Александринский театр» и «Петербургская литература», — которые примечательны, прежде всего, широтой своего диапазона.



Ряд историков социологии, в частности, проф. В.П. Култыгин, связывают с деятельностью В.Г. Белинского, точнее — членов его литературно-общественного кружка, начало становления в России научного социологического знания. Тем самым косвенно подтверждается наша гипотеза о «физиологическом очерке» как генезисе отечественных социологий.

Из перечисленных нами литераторов «первого ряда» наиболее тесно был связан с физиологической литературой Гоголь. В его творчестве приобретает огромное значение тема большого города — одна из важнейших тем русской «физиологии». Гоголь всесторонне описывает топографию Петербурга, исключительное внимание уделяет его демографической характеристике. В «Петербургских записках» (1836), несмотря на совершенно определенное название статьи, существенное место отведено... характеристикам Москвы, сравнительному анализу ее и Петербурга. Многие из характеристик, данные обеим русским столицам Гоголем, стали впоследствии общеупотребительными, послужили другим литераторам для развития или полемического отрицания. Что же касается повести Гоголя «Невский проспект», то, по мнению ряда исследователей, ее вполне можно трактовать как цикл физиологических очерков, связанных в единое целое петербургской топографией. «“Невский проспект” есть цикл физиологических очерков Петербурга, где даны функция главной столичной артерии, социальные портреты офицера, художника, жанровые этюды публичного дома и слесарной мастерской...» [33, 33].

К физиологической традиции, впрочем, примыкает не один только «Невский проспект». Весь цикл

«петербургских повестей» буквально «заряжен» физиологизмом. Это нашло выражение в авторских характеристиках майора Ковалева в «Носе», значительного лица в «Шинели», одного из петербургских районов — Коломны.

Разнообразные «физиологизмы» встречаются и в «Мертвых душах». Вдумчивого читателя и исследователя не собьет с толку определение жанра «Мертвых душ» как поэмы, данное самим Гоголем. Текст этой условной «поэмы», наряду с действительно поэтическими отступлениями от сюжетной линии, малочисленными и потому общеизвестными (птица-тройка, например), в значительной мере состоит все же из элементов *монографического письма*, присущего, скорее всего, *научному изображению общественной среды*, по воле автора столь переменчивой и разнохарактерной.

Как справедливо отметил исследователь, А.С. Пушкин «не только никогда не писал физиологических очерков, но и не помышлял о работе над этим жанром, внутренне чуждым его поэтике» [124, 14]. Вместе с тем объективно его прозаические произведения оказали существенное влияние на формирование русского физиологического очерка, прежде всего, в области развития и совершенствования техники литературного реалистического портрета, что можно предметно наблюдать в зачинных абзацах пушкинской повести «Станционный смотритель». В них А.С. Пушкин создает так называемый «профессиональный портрет» станционного смотрителя, доводя его до типизации, характеризующей весь служивый слой российского чиновничества низового уровня.

Позже, 10—15 лет спустя, наличие характерного портрета героя станет необходимым условием произведений реалистической прозы. Наследует «профессиональный портрет» и физиологический очерк, для которого, в отличие от интродуктивной функции пушкинской сюжетной прозы, он в системе дискретивной прозы очеркового типа явится самостоятельной функцией описания-повествования, характеризующейся особенностью, эмблематическим элементом описываемого явления и героя.

В развитие нашей темы, остановимся на творчестве еще одного классика русской литературы, кого подавляющее большинство даже просвещенных читателей вряд ли готово хоть каким-то образом присоединить к числу «очарованных литературным физиологизмом» авторов. На деле же он, хоть и один раз, но напрямую, а не косвенно, как это делали большинство отечественных классиков, обратился к физиологическому очерку. Речь идет о М.Ю. Лермонтове, о его очерке «Кавказец».

Опубликован он лишь после смерти автора в 1929 г. в журнале «Минувшие дни» по копии из архива Н.А. Долгорукова. Как удалось установить советским литературоведам, очерк «Кавказец» был написан Лермонтовым в 1841 г. для издания А.П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими». В вышедшем первом выпуске очерков среди вещей, предназначенных для следующего выпуска, упомянут и этот очерк Лермонтова. Второй выпуск, а вместе с ним и очерк Лермонтова, не появился, очевидно, по цензурным причинам» [67, 491].

Сравнивая очерковый образ «кавказца» с образом Максима Максимовича из художественного текста

«Герой нашего времени», без труда устанавливаешь их типологическое родство. Оба имеют один и тот же чин и почти все время проводят «на линии», в персонажах этих множество совпадений в деталях портрета, привычках, в образе действия и строе мыслей. Отсюда верный вывод: «кавказец», как сказали бы сейчас, — лабораторный этюд, подготовительный материал для более разработанного, психологически и эмоционально детерминированного Максима Максимовича. Но и одновременно — самостоятельное действующее лицо, в задачу которого входит не очаровать читателя благородством своих устремлений и поступков, а наиболее полно *проинформировать* о себе, своих товарищах по пехотному полку, о своем деле — кровавых буднях долго и трудно тянущейся кавказской войны.

Рассказывая о «кавказце», Лермонтов не стремится к созданию привлекательного художественного персонажа, он сознательно ограничивает свою задачу созданием типологического образа типичного русского офицера среднего сословия в типичных обстоятельствах войны.

К результату авторских усилий вполне возможно приложить определение *дегероизация* в том понимании понятия, какое было впервые предложено Л.Н. Толстым в образе капитана Тушина, скромного до застенчивости работника огромной войны. Впрочем, тут Лермонтов идет значительно дальше своего великого последователя. Если Тушин при всей его внешней невзрачности по-своему обаятелен, чист в помыслах и высоконравственен в отношениях с миром и людьми, то лермонтовский «кавказец» не просто пронырлив, склонен к позерству, но и готов

ради выгоды преступить нравственный закон. «Ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсию*; это выражение там освещено обычаем. Благотельная пуля попадает в ногу, и он счастлив» [69, 324].

Выйди очерк М. Ю. Лермонтова «Кавказец» в свет, как изначально предполагалось, в 1842 г., конечно, он сильно поспособствовал бы более ускоренному формированию техники русской «физиологии».

\* \* \*

Даже такой беглый обзор темы красноречиво свидетельствует о том, что в русской литературе очерк буквально со времени своего зарождения являлся распространенным, а у ряда творческих персоналий даже предпочтительным жанром. Он во все времена привлекал внимание большинства профессионалов жанра и видных литераторов «первого ряда». Благородной целью его являлось всестороннее познание русской действительности, прежде всего, через призму жизни широких слоев простого народа.

Как мы отмечали выше, общий кризис западноевропейского реализма, который развился после трагического поражения революции 1848 г., оказал негативное влияние на западноевропейский — прежде всего французский и отчасти английский реалистический очерк, который достаточно скоро утратил свое былое значение.

Судьба русского очерка оказалась более ровной. Появившись вслед за Западной Европой, он не пережил ни кризиса роста, ни упадка. Его путь от Пушкина до наших дней по большому счету омрачился

лишь периодами избыточного государственного регулирования литературного процесса, когда характерная и необходимая для реализма критическая компонента была на тот или иной период подавлена цензурой, а господствующая в государстве идеология стремилась посредством кнута и пряника принудить очеркиста к апологетическому служению власти.

Напомним, что период, о котором ведем речь, — 40-е гг. XIX столетия — это время, в котором «заключены и концы и начала» [103, 11]. Они завершали в России те процессы, которые происходили на протяжении предшествующих десятилетий, и одновременно выводили страну к новому рубежу. Гнилость общественного строя к тому времени стала окончательно очевидной. Именно тогда при царском дворе, в государственных учреждениях, в высшем обществе составила та лживая система маскировки, лицемерия, политического заигрывания и утрашения, которая наиболее ярко характеризует николаевское царствование.

«Внутреннее положение страны из рук вон плохо, — писал в 1847 г. М.А. Бакунин. — Под покровом строжайшего иерархического формализма скрыты отвратительные язвы: наша администрация, наша юстиция, наши финансы — сплошная ложь, придуманная для обмана заграничного общественного мнения, для успокоения внутренней тревоги монарха <...> действительное положение дел его страшит» [4, 275 — 276].

Одновременно с массовой апатией и пессимизмом наметились и быстро вызрели противоположные им тенденции общественного развития, которые с каждым годом во все большей мере доминировали в обществе.

К 40-м гг. прогрессивная Россия созрела для протеста, страхнула оцепенение и пришла в движение. Усилились крестьянские волнения, бунтовали солдаты и рабочие. К концу десятилетия протест окреп и готов был вылиться в массовом революционном движении.

Одной из активных участниц развернувшейся в 40-е гг. борьбы стала русская художественная культура. Эстетика, литературная критика, журналистика, литература, графика, живопись — все эти виды русской культуры сконцентрировались вокруг главных вопросов времени. Искусство не могло не бороться за избавление человека от горестей и социальных бед. Эстетика и критика не могли не проповедовать новых форм и методов творчества, ибо тогда ушли бы в сторону от главного пути русской художественной культуры, все более роднящейся с критическим реализмом. «Вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всяческое человеческое право. Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась. Раздавленная в газете, она возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала свое дело в курсе естественных наук. Она проявлялась даже в молчании и сумела проникнуть сквозь стены и двери. У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» [30, 190 — 191].

В истории культуры, духовной жизни, как и в истории государства и общества, случаются периоды, содержащие в себе черты ярко выраженной неповторимости. От них остаются понятия, органич-

но связанные с самим этим временем и во многом только в этом времени находящие свое объяснение. Одним из таких этапов в российской истории стали 40-е гг. XIX столетия. Их самостоятельная роль породила такие понятия, как «люди 40-х гг.», «литература 40-х гг.» и т.д. Добавим в этот ряд и *физиологический очерк*, сыгравший столь важную роль в развитии не только литературы, но и социальной мысли, научной социологической практики.

### 5.1. Физиологический очерк в контексте натуральной школы XIX в. Зародыш социологизма

Примем вслед за ведущим исследователем натуральной школы в русской литературе профессором В.И. Кулешовым [62, 95] за единицу измерения процесса становления и развития русского литературного натурализма физиологический очерк. В таком случае несложно проследить первую цепочку трансформаций: **физиологический очерк** — рассказ — повесть — роман. Условие такого рода трансформации, ее движитель заключены в постоянном и неуклонном обогащении очерковой основы все новыми изобразительными средствами, усложняющимися элементами, писательскими техниками, переложенными на письменные описания заимствованиями из родственных видов искусств, прежде всего — театра и живописи. Но все же главным, видовым элементом, неуклонно трансформирующим очерк в явление художественной прозы, является осознанное и преимущественное использование автором *сюжета*.



Сюжет в написании литературных текстов может быть сравним с монтажом аудиовизуального (кино, телевидение на аналоговых и цифровых носителях и т.д.) материала. Выстроить историю путем последовательного изложения фактов, нанизывания одного за другим эпизода на стержень времени — задача практически невыполнимая. Даже известное триединство (места, времени, действия) классической драматургии лишь малоопытному взгляду может показаться линейным. За ним — отбор и монтаж, отсеивание второстепенного для предпочтительной демонстрации главного, а то, что в лучших образчиках жанра трудно различить монтажные стыки и швы, свидетельствует лишь о высоком уровне одаренности авторов такого рода артефактов.

Физиологизм в русской прозе, справедливо отнесенный нами в родовом определении к очерку, константного места в литературном процессе не занимал. Он, можно сказать, дрейфовал от очерка к повести и обратно в различные периоды с различной степенью интенсивности.

Роль повести как ведущего жанра эпохи подчеркнул В.Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя». «Именно в жанре повести сливались лучшие **социологические** (выделено мной. — *Авт.*) и художественные открытия, завоеванные в более простых жанрах» [62, 98].

Натуральная школа, вобравшая в себя литературный социологизм, ставила задачу разобраться в хитросплетении всех социальных зол, общественных неправд на Руси. Для этого следовало анатомировать русское общество, постичь его структуру, а вместо масок нарисовать живые портреты со всеми подроб-

ностями и соблюдая реальные пропорции. Общество жаждало истины, твердого знания причин зла, слеза, слез... Какие изобразительные средства реально могли помочь автору для решения этой, поставленной обществом, задачи?

Коль речь идет о литературном портрете, в первую очередь — *психологизм*.

Не станем вдаваться в подробности применения психологического метода в русских литературных физиологиях, так как это уведет нас в сторону от основного маршрута предпринятого исследования. Укажем на важную для нас мысль о том, что *психологический портрет* в динамике творческого развития неизменно иницирует *социальную компоненту* в отображении выбранного очеркистом явления. Признание **социальности** предметом литературного изображения и изучения, в свою очередь, означает приближение творца к **социологичности** как методу, как важной составной своей индивидуальной (корпоративной, сословной, классовой) поэтики.

Очеркисты физиологического направления и в еще большей мере писатели, взявшие на вооружение жанр физиологического рассказа, повести, романа, существенно больше, чем их предшественники, уделяли внимания внутреннему миру героев, что внесло много новизны в поэтику школы. На передний план ими все чаще выдвигаются не внешние черты героев, а их переживания, психологические портреты. Исследователи справедливо отмечают драматическое нарастание в текстах Гоголя, Достоевского, но и это нарастание касается не развития событий, а чувств, эмоций, самосознания героев. Отмечается также, что такой взрыв эмоций вовсе не подрывает

социальности творчества. «Он (Достоевский — пояснение мое. — *Авт.*) мыслил психологически работанными образами, **но мыслил социально** (выделено мной. — *Авт.*) [8, 118].

По существу, М. Бахтин упускает социальный детерминизм, так называемую «слиянность» декларированных героями произведений теорий с идейными исканиями того времени, в каких бы карикатурных и запутанных формах эта связь ни проявлялась. Для нас является чрезвычайно важным призыв исследователя извлечь социологические эквиваленты из тех, исторических на настоящий момент, теорий, развиваемых как бы *sui generis*, призыв, понимаемый им в качестве конечной задачи исследователя предмета. Особенно важно социологическое осмысление мира автора, в который «слит» совокупный опыт предварительных наблюдений и написанных текстов, опыт литературного «дирижера» полифонического оркестра. **Единственно правильной будет в таком случае система восприятия текста, предполагающая не безусловную опору на язык и оценки содержащихся в нем персонажей, даже не на собственный авторский язык и авторское мировоззрение, но на проверочный анализ, проведенный на языке и с привлечением понятийного аппарата социологии нашего времени.**

## 6.1. Диктатура жанра и жанр тотального критиканства

Сплошь и рядом в литературе о физиологическом очерке встречаем устойчивое выражение «жанровая сцена». Понятие «жанр» употребляется здесь не как

фиксатор и классификатор тематических и эмоциональных различий, «непохожестей» литературного произведения с предпочтительно присущими только им устойчивыми онтологическими, эстетическими и даже этическими предпочтениями (трагедия, драма, комедия, фарс и т.д.), а, скорее, как некий синоним определения «зарисовка», у которой упомянутый выше «родовой» отличительный жанровый элемент либо предельно ослаблен, либо вовсе в выраженном виде отсутствует, замененный на своеобразный «всежанровый» микст.

Такую *эklekтику* изображенного материала, «разнонастроенчество» в отношении к нему автора, коллег, критиков мы можем наблюдать не только в ранних русских «физиологиях», где эти качества вполне можно отнести к наследству от прямого родственника — нравоописательного сатирического очерка, но практически на всем временном пространстве бытования русской литературной «физиологии». «И смех и грех», — емко и предельно определенно сказано о такой жанровой неопределенности в перле народной мудрости — поговорке.

Нам представляется не случайным выбор (скорее, все же *отбор*) такой пары определений: «смех» — «грех». Если поменять их местами, то поговорка выразит суть морализаторской задачи авторов большинства «физиологий». Выявить и как можно выразительнее и точнее описать грех (степень греховности события, поступка в данном случае не имеет значения), и сделать это ярко, да так, чтобы запомнилось надолго, следовательно, — написать «о грехе» *смешно*.

Юмор, сатира в отечественной очерковой эволюции до интересующего нас уровня литературной

«физиологии» выступают, таким образом, не столько в качестве рудимента от предшествующего сатирического нравоописательного *подвида*, но и в качестве укорененных *родимых пятен*, присущих всему *виду*.

Являясь сами по себе словесными *иллюстрациями* нравов, литературные «физиологии», как выяснилось в процессе их издания, нуждались в иллюстрациях изобразительных, которые бы подтверждали, усилили впечатление от повествования (приложение 1). Это тяготение текста к изображению, к иллюстрациям невольно наводит нас на мысль, что авторы и издатели «физиологий» опасались читательского недоверия<sup>18</sup>. Скажем прямо, для такого рода опасений у авторов и их издателей имелись веские основания.

Вдумчивого читателя, прежде всего, настораживали выраженный субъективизм, гиперболизация отраженных в тексте неприглядностей, утрированная сатира, временами доходящая до злобного ерничанья. Конечно, чтобы запоминающимся образом отразить, нужно (особенно если речь идет о пороке) преподнести его гипертрофированно разросшимся, предельно неприглядным, несовместимым с нормальной средой обитания благонамеренного обывателя. Все это так, но... чем больше в подобного рода творчестве наблюдается субъективистского осуждения, тем более актуализуется вопрос о допустимой мере благого искажения, о балансе критического субъективизма индивидуальной оценки и реальной объективности, зафиксированных в пространстве одного текста.

---

<sup>18</sup> См. подробнее: [24]; [60].

Для большей наглядности продолжим тему обращением к нравоучительной, бытописательной живописи, которая в 40-х гг. XIX в. развивалась в контексте общего критического отображения действительности столь же бурно, как и физиологический очерк, и теперь готова представить нам в собраниях музеев и галерей весьма поучительные в интересующем нас ракурсе живописные артефакты.

Их появление определяют как объективные, так и субъективные факторы.

*Во-первых*, всплеск жанровой бытописательной и нравоучительной живописи стал для ряда демократически настроенных художников гражданской реакцией на душливый общественно-политический застой 40-х гг.

*Во-вторых*, в заданном снижении эстетического пафоса, который наблюдается в большинстве подобных полотен, выражены и своеобразный вызов молодых начинающих живописцев маститым мастерам академического направления, и их желание пойти в искусстве своим, отличным от «академиков» путем. У нас в России такой бунт против академизма приведет к формированию товарищества так называемых передвижников с их отчетливо выраженными социально-политическими пристрастиями к народничеству. Во Франции — практически оставив в стороне социально-политические мотивы, породит настоящую революцию в эстетике живописи, сформирует одно из ярчайших художественных направлений последних полутора веков — импрессионизм.

*В-третьих*, жанровая живопись, став востребованной обществом, соблазняла легким и быстрым конъюнктурным успехом, и многие художники,

весьма достойные в том числе, не смогли избежать соблазна.

Итак, в живопись хлынул фельетон в тогдашнем, не столь строго детерминированном, нежели в наши времена, понимании этого термина... Даже величайший русский живописец-мистик Михаил Васильевич Нестеров не уберется искусства жанра. Перебравшись из Уфы в столицу, он пишет ряд незамысловатых сценок: «Задавили» (1883) — толпа зевак возле жертвы тогдашнего уличного движения; «Домашний арест» (1883) — жалкий человечек, пьяница сидит на диване без сапог, предусмотрительно снятых женой, чтобы не убежал в кабак; «Знаток» (1884) — дородный купчина разглядывает картину через свернутую в трубочку бумагу. И видно, что невежда, а, быть может, от него зависит судьба картины и ее автора.

С жанра начинал и Павел Федотов. Он, будучи гвардейским офицером, получил от императора Александра пенсию для занятия живописью, вышел в отставку, но стал писать на воле не военные баталии и парады, чего от него ожидал венценосный меценат, а нечто совсем иное. Первым живописным полотном П. Федотова стал «Свежий кавалер» (приложение 2).

Сценка незамысловата, но смешна. Чиновник, получивший орден и sprysнувший его накануне, примеряет этот орден на домашний халат и куражится перед молодой кухаркой. Кухарка же показывает ему его собственный прохудившийся сапог.

Но для нас важно не само по себе художественное полотно, а то, как оно воспринято и прокомментировано. Важно, как разнятся оценки отображенной

в картине **социальной реальности** в зависимости от того, кто является автором этих оценок.

Вот как прочитал федотовского «Кавалера» знаменитый критик Василий Стасов. «<...> перед нами поднаторелая, одеревенелая натура, продажный взяточник, бездушный раб своего начальника. Ни о чем более не мыслящий, кроме того, что даст ему денег и крестик в петлицу. Он свиреп и безжалостен, он утопит кого и что хотите — и ни одна складочка на его лице из риноцеровой<sup>19</sup> шкуры не дрогнет. Злость, чванство, вконец опошлившаяся жизнь — все это присутствует на этом лице, в этой позе и фигуре закоренелого чиновника в халате и босиком, в папильотках и с орденом на груди».

Впоследствии критика пошла еще дальше. Как указывает в своих «Письмах из Русского музея» Владимир Солоухин, авторы монографии советского периода о Федотове пишут: «Федотов срывает маску не только с чиновника, но и с эпохи. Посмотрите, с каким превосходством, с какой иронией и трезвым пониманием действительности глядит на своего барина кухарка. Такого искусства обличения не знала русская живопись» [107].

На этих примерах легко проследить, что критика зачастую читает в произведениях не столько то, что в них заложено, сколько то, что ей хочется (велят?!) прочитать.

О подобных Стасову хулителях замечательно сказано еще в сочинении под обширным (дань времени!) заголовком «Свет зримый в лицах, или Величие и многообразность зиждительных намерений,

---

<sup>19</sup> Носороговой (пояснение мое. — Авт.).



открывающиеся в природе и во нравах, объясненные физическими и нравственными изображениями, украшенными достойных сих предметов словом, в пользу всякого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам», изданном в Санкт-Петербурге в 1789 г. «Таков есть Хулитель. Из очей его сверкает завистливый и снедающий огонь, а из свирепых челюстей исходит на врагов и на приятелей град, преисполненный пожеланий и ругательств. Сии ударяют и разят жестоко, терзают и язвят, и нигде не можно от них укрыться. Но к щастию нашему, Хулитель опровергает через то купно и собственное свое благоденствие; и, будучи попра, исчезает он, подобно граду, таящему на разженной земле.

Приводит в страх, разит и часто убивает;  
Но чуть появится, сам скоро исчезает!»

Но вернемся к живописцу П. Федотову и его картине «Свежий кавалер». Человечишка изображен на ней, конечно же, мелкий, но, непредвзято глядя на него, на всю запечатленную художником жанровую сценку, можно опровергнуть каждое слово маститого критика, совсем иначе прочесть картину. И В. Солюхин делает это с блеском.

«Настоящий карьерист и сухарь, “одеревенелая натура” не будет становиться в позу перед кухаркой, тем более в ночном халате, — здраво утверждает “критик критика”. — Одеревенелая натура не прицепит ордена на халат. Настоящий карьерист и сухарь будет любоваться орденом наедине перед зеркалом, в полной своей чиновничьей выправке. Мимо

кухарки он пройдет, храня ледяное величие, а не станет с ней фамильярничать в халате.

То, что он куражится перед кухаркой, говорит скорее о его веселом, общительном нраве, о его, если хотите, (любимое у критиков словечко) демократизме. О том же (веселый общительный нрав) говорит и гитара, под которую он поет, вероятно, жестокие романсы, и может быть — кто знает? — хорошо поет. О нраве же (а не об одеревенелости) говорят следы бесшабашной вечерней попойки.

“Продажный взяточник”, — говорит Стасов. Но откуда это видно? С таким же успехом можно про него сказать, что он английский шпион. Если он взяточник, почему столь бедная и убогая обстановка? Настоящие взяточники живут на даче и имеют собственный выезд. “Бездушный раб своего начальника”. Но это чисто умозрительное заключение. Ни одна деталь в картине не наталкивает на эту мысль. Если он “свиреп и безжалостен”, на что вовсе уж нет никаких намеков в картине, разве что птичка в клетке, но как же кухарка не боится совать ему со смехом под нос его собственный худой сапог? Это риноцеросу-то, который “утопит, кого и что захочет”. Противопоставление народа и правящей чиновничьей верхушки? Но между кухаркой и чиновником — скорее панибратство и фамильярность, нежели острая идейная борьба. Одним словом, в картине прочитано то, что хотелось прочитать исследователю и критику. Между прочим, точно так же по-разному можно читать саму действительность, а не только ее отображение на холсте. Действительность читает художник, художника читает публика. Критика подсказывает, как именно следует читать.

Поскольку есть потребность в чтении, то появляется и чтиво.

Литература и чаще всего фельетон (самое заманчивое и легкое чтиво) начали главенствовать во всякой картине настолько, что подчас забывали о том, что должна быть еще и живопись, и совсем примирились с отсутствием того, что называется словом “дух”. Забавное положение, смешной момент, в лучшем случае, трогательная сценка — вот и пиши картину. Хорошим тоном сделалось все бранить, над всем подсмеиваться, и плохим тоном стало что-либо утверждать, а тем более (Боже сохрани!) возводить в идеал. Жанр сделался той средой, которая диктовала и предписывала очень часто помимо сознания и воли художника. Воля нужна была для другого, а именно для того, чтобы вырваться и преодолеть» [107, 63—65].

Ну и, наконец, предоставим слово самому автору картины. В 1850 г., в преддверии выставки Павла Федотова в Московском художественном училище, он опубликовал свое толкование сюжета «Свежего кавалера» в журнале «Москвитянин».

«Утро после пирования по случаю полученного ордена. Новый кавалер не вытерпел: чем свет нацепил на халат свою обнову и горделиво напоминает свою значительность кухарке, но она насмешливо показывает ему единственные, но и то стоптанные и продырявленные сапоги, которые она несла чистить.

На полу валяются объедки и осколки вчерашнего пира, а под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероятно оставшийся на поле битвы, тоже кавалер <...>. Талия кухарки не дает права хозяину иметь гостей лучшего тона.

Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь» [68, 176 — 178].

Налицо — морализаторский настрой художника. Он собирался написать обличительную картину. Обличать при этом не столько *социальные язвы*, сколько морально-нравственную несостоятельность персонажей. «Талия кухарки не дает права хозяину иметь гостей лучшего тона». Нетрудно понять, что на картине предполагалась беременная кухарка, *хозяйтельница* (по тем временам само по себе — большой грех!) непутевого безнравственного кавалера. Но процесс работы над картиной весьма существенно скорректировал первоначальный замысел. На смену обличению пришла ирония.

Прежде всего, она обращена на главного персонажа картины — новоиспеченного орденоносца (кавалера). Поза его — величаво выпяченный торс, горделиво вскинутая и повернутая почти что в профиль голова с лицом, явно не характерным для славянина (!): глаза навывкате, массивный нос с горбинкой, крупные губы, сложившиеся в адресованную дурехе-кухарке презрительную ухмылку, широкие босые ступни в характерном поставе — все это не то что намекает, вопиет о добродушной карикатуре на римского патриция. Сходство призваны дополнить утренний халат с закинутой на плечо полой — тога, да и только! — матерчатые папилютки на всклокоченных волосах, которые при желании нетрудно представить в качестве фрагментов траченного лаврового венка.

Задача художника, как видим из авторского толкования сюжета картины, — *изобличить*. Талант, здравомыслие, привычка следовать натуре (в широ-

ком понимании понятия), а не головной умозрительной идее, существенно изменили первоначальный замысел и подвигли художника к необходимому *осмеянию*. Большинство житейски умудренных граждан наверняка с удовлетворением примут такую трансформацию замысла. Поддержат толерантного В. Солоухина, а не идейного фанатика В. Стасова в их полемике через столетие. И все же...

Каков он на самом деле — этот анонимный кавалер? Что представляет собой то сословие, к которому он принадлежит, — русское самодержавное чиновничество? Что в герое (антигерое?) нашем следует отнести к характерным чертам, а что — к случайным и потому неповторимым штрихам индивидуального?

К исследуемому нами периоду во все большей мере становилось очевидным, что требуется не столько пусть самый блестящий *субъективный* взгляд на личность или явление, как пускай сухое, занудное, но подкрепленное неопровержимыми фактами и столбцами цифири *объективное* знание. Знание, которое могло предоставить только социальная наука.

Кстати, и искусство с его субъективизмом творческой индивидуальности в качестве корневых признаков к тому времени отчетливо испытало потребность в точных объективных критериях, потребность в научном сопровождении творческого процесса. Гармонии творческого прозрения в который раз оказалась необходимой алгебра научного анализа, а в качестве творца-аналитика на передний план выдвинулся не романтический злодей Сальери, как его придумал гений Пушкина, а дисциплинированный, тяготеющий к научному анализу талантливый художник-

экспериментатор. Как верно замечено: свято место пусто не бывает. Исторический заказ вскоре был выполнен. Появился нужный искусству художник-аналитик. Имя его — Жорж Сёра.

Но прежде обратимся к живописи одного из самых ярких представителей *импрессионизма* Клода Моне (приложение 3). Искания Моне были направлены на разрушение многообразия связей, существующих в реальной природе, отвергали естественность восприятия окружающего мира и являлись утверждением личной воли художника в его искусстве. Они отражали индивидуальное начало — именно то, чего так недоставало «старой» академической живописи, против канонов и мифологии которой восстали молодые бунтари. «Это была попытка выйти из тисков строгой объективности <...> отражающей особенности общения человека с реальным миром» [102, 27].

«Выйти из тисков строгой объективности» К. Моне удалось более чем, в частности в известной серии городских пейзажей, созданных им с балкона гостиницы «Савой», в которой он неизменно останавливался во время своих приездов в Лондон. Как справедливо считает исследователь, «эта серия очень показательна. В процессе работы над нею художник убедился в том, что непосредственного общения с натурой ему уже недостаточно для создания таких тончайших красочных гармоний, какие образует туман, превращающий все вокруг в едва различимые, невесомые силуэты» [102, статья каталога «Мост Ватерлоо»].

Ранее того, в 1888 г., Сёра «оказалось недостаточно непосредственного общения с обнаженной жен-

ской натурой», в результате чего появилось известное дивизионистское полотно «Натурщицы» (приложение 4).

Уже почти предельный субъективизм живописцев школы импрессионизма не оставлял реальной перспективы для их последователей в развитие импрессионистического принципа и метода. Еще больший отказ от фигуративности, стремление к большему волюнтаризму в цвето- и светопередаче объекта изображения вели, пожалуй, лишь к абстракции, к которой, кстати, к тому времени вплотную подошел русский художник Василий Кандинский. В цветопередаче — основном элементе живописи — вызрела необходимость в отступлении от опасной деструктивной черты субъективистского экстремизма.

Художник Жорж Сёра, кого справедливо относят к классикам французского постимпрессионизма, применял особую технику письма, названную впоследствии пуантилизмом, хотя сам Сёра и его соратники тщательно избегали термина «пуантилизм» применительно к их творчеству, предпочитая говорить о «дивизионизме»<sup>20</sup>, который, по их мнению, исчерпывал все их нововведения.

Нововведения же заключались в том, чтобы передать световое и цветовое многообразие мира путем правильного подбора, чередования и размещения на

---

<sup>20</sup> Дивизионизм означает «извлечение всех возможных преимуществ яркого света, цвета и гармонии посредством оптической смеси исключительно чистых пигментов (все цвета спектра и все их тона) и путем разделения различных элементов (локального цвета, цветного света и их взаимодействия) при сохранении равновесия этих элементов и их пропорций (согласно законам контраста, грации и освещения), а также путем применения мазка, соответствующего размерам картины» [104, 151].

холсте локальных цветов. В этом заключался не только художественный принцип, но и, по нашему убеждению, глубокий философский подход к пониманию и отражению действительности, близкий научному мировоззрению. Подобно тому как картины Сёра и его последователей создавались набором огромного числа плотно прилегающих одна к другой точек-мазков (отсюда и пуантилизм, т.е. техника точек) локальных цветов, так и научная картина социума создавалась на основе локальных объективных данных об этом социуме. **Живописная мозаика Сёра и мозаика объективных фактов серьезного и ответственного социологического исследования имеют в основе один и тот же основополагающий принцип: для создания объективной картины художником-живописцем и социологом-исследователем привлекаются реалии (цветовые, световые, графические, статистические, совокупных выборок и т.д.) окружающего мира, а не авторские представления (пусть самые оригинальные и заманчивые) о сущем.**

Итак, «ахроматизация» по Сёра требовала взаимопроникновения всех цветов и оттенков в их чистом виде. Воспроизведение точной окраски поверхности картины при заданных условиях освещения *исключало смешивание красок на палитре*. Физические опыты к тому времени доказали, что смесь пигментов в конечном счете приводит к черному цвету. Единственная смесь, способная дать нужный эффект, была «оптической смесью» — сам глаз зрителя как бы смешивал локальные цвета на картине. Применяя мелкие мазки в форме точек, Сёра концентрировал даже на небольшой поверхности большое разнообразие цветов и оттенков, соответствующих



каждый одному из элементов, из которых складывался внешний вид предмета. На определенном расстоянии, зависящем от размера точек, выбранного для данной картины, эти мелкие частицы должны были оптически смешаться. Как считали Сёра и его друзья-последователи, оптическая смесь давала гораздо большую интенсивность и яркость цвета, чем любая смесь пигментов.

Научность подхода Сёра заключалась еще и в том, что им на основе самых современных на ту пору изысканий в области оптики и колористики была тщательно и скрупулезно разработана *система* использования цветов, получившая название «Круг Сёра» (приложение 5).

Позднее художник продемонстрировал столь же конструктивистский подход и к графике своих живописных картин, добиваясь «гармонии красок — благодаря подбору тонов, и гармонии линий — благодаря их верной направленности, а в целом — соответствия линий и цвета на картинах» [100, 91].

Не составит большого труда продемонстрировать аналогичный поиск принципов «алгебры художественного творчества» и в тогдашней композиторской практике. Самое чувственное, эмоциональное и потому наименее поддающееся головному мыслительному анализу искусство — музыка не в меньшей мере, чем литература и живопись, устремилась к эксперименту с традиционным гармоническим ладом. Такие бесспорно талантливые, оригинально мыслящие и чувствующие композиторы, как Г. Малер, А. Шёнберг, И. Стравинский, К. Пендерецкий, А. Скрябин, Ф. Пуленк, М. Равель, Б. Бриттен и т.д., предложили не просто новые подходы

в композиторских техниках, но и революционно новые целостные *системы*, диссонлирующие с привычными слуху усредненной публики консонансами. Наибольшую известность из них приобрела так называемая 12-тоновая (она же — *серийная*) декафония.

**Вывод:** *осознав, что литература и искусство дошли в своем развитии почти что до критической черты субъективизма, элиты общества, всерьез озабоченные проблемами общественных отношений, становления и развития российского социума, проблемами, в изобилии возникавшими на этом пути общественного развития, естественно устремили свои взгляды к научным (псевдонаучным) методам познания и отражения социальной реальности. Благодаря этому ускорился и радикализовался процесс становления и развития социальных наук, в первую очередь — социологии.*

## 7.1. Социологическое исследование

### ***Краткий исторический очерк и обзор опорных для данного исследования методов***

Общеизвестно, что самостоятельной академической наукой социология становится в середине XIX в. Ее основоположник и автор самого термина «социология» французский мыслитель *Огюст Конт* (1798—1857) резко противопоставлял социологию не только теологии, но и метафизике как основному тогда направлению философии. По его мнению, истинная наука должна была отказаться от вопросов, которые нельзя разрешить, опираясь на доступные эмпириче-

скому наблюдению факты, и вместо этого сконцентрировать внимание на исследованиях выявленных совокупностей, функционирующих в субстанциях системно организованных больших целостностей.

Середина и вторая половина XIX в. в интеллектуальной истории Запада являются периодом всеобщего увлечения естествознанием, чьи успехи к тому времени стали очевидными, что, в свою очередь, и определило расцвет позитивистско-натуралистического мировоззрения, в том числе и в тогдашней социологии.

Виднейшим представителем этого направления стал английский социолог *Герберт Спенсер* (1820—1903), считавший универсальным процессом эволюцию, которая в одинаковой мере способна объяснить динамику и трансформации как природной всеобщности, так и частных социальных и личностных феноменов. Спенсер первым применил для социологии понятийный ряд, состоящий из: 1) структуры; 2) функции; 3) системы; 4) института, — чем заложил основы структурного функционализма в социологии. По мнению Г. Спенсера, «изменения в структуре не могут происходить без изменения функций: увеличение размеров социальных единиц неизбежно пробуждает в них прогрессирующую дифференциацию социальной активности, естественное разделение труда» [42, 3].

Наибольший интерес для нашего исследования представляют мировоззрение и научные предпочтения классика социологической школы, французского обществоведа *Эмиля Дюркгейма* (1858—1917), который считал необходимым условием для превращения социологии в самостоятельную науку наличие особого предмета, изучаемого исключительно данной

наукой, и соответствующего научного метода. Социальным фактом, по определению Дюркгейма, «является всякий образ действия, четко определенный или нет, но способный оказывать на индивидуума внешнее давление и имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от него. <...> Образы мыслей, действий и чувствований существуют самостоятельно, объективно» [42, 8].

Пожалуй, впервые в обществоведении стараниями Э. Дюркгейма столь четко и однозначно не только определена, но и намеренно акцентирована *объективистская суть* предмета научного исследования. Впоследствии, когда к изучению социальных явлений во все большем объеме станут привлекаться факты, зафиксированные в разнообразных документах, понятие объективизма в значительной мере уступит место понятию документальности, которое при этом сохранит родовые особенности своей предшественницы.

Сущностный объективизм нашего мира, объективность социальных фактов и факторов неизбежно оказывают давление на находящихся в их среде индивидуумов. Дюркгейм и его последователи считали, что подобного социального давления-принуждения не может избежать ни один человек, находящийся в социальной среде. Реализуется оно в самых различных формах: от силового принуждения граждан исполнять принятые государством законы до неодобрения, а то и общественной обструкции в случае игнорирования индивидуумом так называемых неписаных законов традиционного кодекса поведения.

Социальное принуждение, порождая дихотомию «сопротивление — приспособление» и несчетное ко-

личество компромиссных поведенческих вариантов, находящихся между этими максимумами, является, таким образом, основой устойчивого функционирования социального общества. Благодаря социальному принуждению личность и общество находятся во взаимоотношениях взаимозависимости, что существенно ограничивает агрессивность каждой из сторон, делает их заинтересованными в развитии и процветании друг друга, в установлении истинно партнерских отношений.

Разнонаправленная дихотомия, причудливым образом соединившая в пространстве-времени XIX века в едином процессе попытки устранить общественные рефлексии относительно возможности общества совершенствоваться, приспособляясь к изменяющейся социальной реальности, и идею прогресса, необратимости истории, попытки осознать понятие «социальное», не сводя его окончательно ни к индивидуальному, ни к общественному, также способствовала возникновению социальной теории, одновременно полифоничной и компромиссной.

Таким виделось желанное построение социального мира основоположникам классической социологии без малого два века назад, и следует признать, что эта гипотетическая картина мало чем отличается от проектов идеального общества, разрабатываемых и артикулируемых сегодняшними социологами.

### ***Предмет и метод социологического исследования***

Рассмотрим предмет и метод социологического исследования в том виде, в каком они сложились в западноевропейской социологической науке ин-

тересующего нас периода, и с теми вариативными и трансформаторскими особенностями, каким они подверглись в восприятии и интерпретациях первых русских социологов. Для этого обратимся к наследию основоположника позитивного метода в научной социологии *Огюста Конта* (1798—1857).

По мнению этого ученого, *социология является единственной наукой, которая изучает процесс совершенствования человеческого разума и психики под влиянием общественной жизни*. Согласно выстроенной на этом утверждении концепции, индивид является абстракцией, а общество — действительностью, подчиняющейся естественным законам. При этом, в отличие от биологических законов, общественные законы находятся в постоянном изменении, преобразовываясь и развиваясь во времени.

Исходя из этого, первоначальной и основной действительностью, из которой должен исходить исследователь, является общество, взятое в его целостности. Чрезвычайная сложность общества, на которую указывал О. Конт, объясняется тем обстоятельством, что действующие в нем современные факторы сливаются с историческими, опыт прошлых поколений осознанно или подспудно оказывает влияние на современников. Общество, по мнению О. Конта, — это высшая действительность (*sui generis*), высшее существо<sup>21</sup>. Главным содержанием общественного процесса развития является процесс научной мысли,

---

<sup>21</sup> Характерно, что для определения этого «высшего существа» О. Конт часто использует понятие «человечество», которое шире, стилистически возвышенней понятия «общество», к тому же носит явный сакральный оттенок.

«научного духа» [135, 268], в соответствии с которым строится картина развития истории общества.

Сам О. Конт, обозревая более ранние попытки основания универсальной общественной науки, основоположником социологии считал еще Аристотеля, чья «Политика», по его мнению, является прообразом всех последующих сочинений подобного рода.

Однако, уже ближайший последователь Конта русский энциклопедист и один из основателей отечественной социологии *Н.И. Кареев* (1850–1931) справедливо заметил, что «предметом науки, созданной великим греческим философом, было не общество, а государство, т.е. общество, взятое как государство, следовательно, лишь в одной из сторон своего бытия... Понятно, что явления государственной жизни не исчерпывают всего содержания общественной жизни в широком смысле этого слова, и поэтому политическая наука, созданная Аристотелем, не может претендовать на значение общего учения об обществе» [50, 1].

Подобным методом Кареев исключает из гипотетических претендентов на роль научного предшественника социологии юриспруденцию, политическую экономию и их синтетическую совокупность с аристотелевской политикой. По его мнению, даже исследовательское отношение к обществу такого научного триумvirата — политика, юриспруденция, политическая экономия — не может дать полного представления о том, что же такое общественная жизнь. Без изучения явлений духовной жизни людей, выразившихся в их художественной культуре, в их нравах и обычаях, религиозных верованиях, мирозерцании, *литературе и искусстве*, наше

представление об обществе было бы в известной степени односторонним и априори неверным. В конце концов, Н. Кареев отказывает в гносеологическом родстве с социологией и Монтескье, хотя признает за автором «Духа законов» наибольшее право на эту почетную роль. Строгость Кареева объясняется тем, что Монтескье, по его мнению, лишь только *предчувствовал* будущую науку об обществе, в полной мере не осознавая ее необходимости. По крайней мере, он не осознавал еще, «что над старыми общественными науками должна воздвигнуться новая наука, которая имела бы своим предметом не отдельные стороны общественной жизни, а самые, так сказать, ее общие основы» [50, 3].

В конечном итоге историческую аналогию социологии, ее научный генезис русский исследователь выводит из... биологии (!), которая объединила, синтезировала с целью установления общего учения об органической жизни ряд наук: зоологию, ботанику, анатомию, физиологию и т.п. «На современную биологию мы имеем право смотреть, как на философию всех отдельных наук, изучающих отдельные стороны органической жизни на земле: **значение совершенно такой же обобщающей и объединяющей философии принадлежит и социологии** (выделено мной. — *Авт.*)» [50, 3].

Сейчас такое понимание социологии выглядит, по меньшей мере, наивным из-за, прежде всего, примитивной натурфилософской детерминированности, но в контексте нашего исследования оно чрезвычайно ценно, так как устанавливает, пусть и на уровне эвристической гипотезы, онтологическую общность самых существенных для нас понятий-терминов: «фи-



зиологический очерк» и «социологическое исследование». Можно сказать, что определение Н. Кареева относительно предмета социологии в контексте истории становления этой науки и выявления ее связей и онтологического родства с другими общественными науками и одним из литературных жанров (реалистический, сатирико-реалистический, «народный», демократический революционный и т.д. очерк, совокупность которых мы намереваемся рассматривать чаще всего в обобщающем понятии «физиологический очерк») для нас вполне может стать как бы исходным рубежом, начальной точкой маршрута, за которыми, в результате наших изыскательских усилий, должна развернуться «дорожная карта» всего предпринимаемого исследования.

### ***Становление русской социологии***

Общенаучные и национальные особенности отечественной социологии имеют ряд аспектов.

*Во-первых*, они укоренены в том сегменте русской культуры, который характеризует русское освободительное движение всех трех его этапов: *дворянского, разночинного и пролетарского*. Это чрезвычайно важный аспект в понимании феномена русской социологии: наряду с тенденциями следования установкам академических школ и направлений, уже первые социологические исследования несут в себе явно выраженные идеологизированные установки, притом как на прогрессивное развитие, так и на охранительство, консерватизм. Во все времена и во всех странах социология, как всякая наука об обществе, завоевывала свое место под научным и общественно-политическим «солнцем» в полемике

и борьбе с иными взглядами и направлениями, но в России, в силу особой активности происходящих в ней общественно-политических процессов и коренных экономических изменений, зачастую носящих крайне экстремистские, революционные формы, эта тенденция оказалась проявленной в наибольшей мере.

Водораздел между двумя основными тенденциями в формировании социальной, а затем и социологической мысли в России оказался проведен преобладающим противостоянием двух основных тенденций в русской общественной мысли: *славянофильства* и *русофильства*, с одной стороны, и *западничества* — с другой.

Взгляды *русофилов левого крыла* сформулировал наиболее крупный представитель этой партии историк и социолог Н. Данилевский (1822 — 1885), который считал, что именно в России произойдет взлет культуры после затухания ее на Западе. Выразителем идеологии *правого крыла русофильства* стал К. Победоносцев (1821 — 1901), который решительно остерегал соотечественников от влияния западной культуры, разрушительной, на его взгляд, силы для русского мира и сознания. Только неукоснительное следование национальным традициям и заветам окормляющей Россию Православной Церкви способно, по мнению Победоносцева, обеспечить русскому обществу гармоническое единство желаний, эмоций и разума.

Западничество в Российской империи также не являлось монолитом. В нем по мере развития данного общественно-философского течения обозначились три направления: *теократическое* (30-е гг.), круп-

нейшим представителем которого стал В. Чаадаев; *гуманистическое* (40-е гг.) во главе с Белинским и *народническое* (60-е гг.), напрямую связанное с именем И. Герцена, а впоследствии Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Д. Писарева и др.

Два основных течения в славяно-русофильстве и три — в западничестве — этот сам по себе довольно сложный общественно-политический рельеф дополнялся еще рядом менее полноводных «ручейков», которые питали региональные, микронациональные, образовательные, конфессионные особенности активных представителей русского общества, что делало общую картину хотя и более проработанной, но одновременно и более путаной и противоречивой. Эти особенности с неизбежностью отразились и на находящейся в стадии становления российской социологии; первые русские социологические исследования не обслуживали напрямую те либо иные политические тенденции, но влияние этих тенденций на сам научный процесс, выбор объекта исследования, методологические предпочтения, отбор статистических и опросных данных никак нельзя отрицать.

*Во-вторых*, социологическая мысль в Российской империи развивалась как интегральная часть европейской культуры. Изначально большое влияние оказали французы Просвещения (Монтескье, Вольтер, Дидро, Сен-Симон и др.), английские экономисты (Смит, Рикардо и др.), немецкие романтики (Шеллинг и др.). Затем, после институционализации социологии на Западе, влияние на процесс становления русской социологии оказали уже собственно западные социологи: О. Конт, Г. Спенсер, Г. Зиммель, М. Вебер, Э. Дюркгейм и др. Это позволило плея-

де блестящих представителей русской социологии, к числу которых можно отнести М. Ковалевского, Л. Мечникова, Н. Михайловского, Е. де-Роберти и др., в своих исследованиях выйти за пределы национальных границ, вписать молодую российскую науку об обществе в общемировой контекст, сделать ее восприимчивой к универсальным методам и инвентарию социологического исследования и анализа.

*В-третьих*, к особенностям развития русской социологической мысли есть все основания отнести не только ориентацию на научное социальное мышление, но и на характерные для освободительного движения тематику, объекты, методы исследований, а также особую восприимчивость к корпусу марксистских социологических идей. Сколь крепко, по образному выражению Н. Чернышевского, оказался «повенчан» марксизм социализм с главными тенденциями общественного развития, столь же глубоко оказался внедрен марксизм в русскую социологию. При этом, как считает академик РАН Г.В. Осипов, «это, конечно, не означает, что социология марксизма явилась как бы продолжением национальных традиций в общественном знании. Эти традиции лишь подготовили (речь идет об их прогрессивных сторонах) почву для распространения марксистских социологических идей» [83, 9].

Идея материализма, привнесенная К. Марксом в науку об обществе и активно подхваченная русскими социологами, позволила установить впервые в истории социологической мысли объективный и универсальный критерий, суть которого — в понимании экономических отношений как системообразующей структуры общества, его своеобразной атомарно-

кристаллической решетки. Данный принцип, экстраполируемый в глубины мировой и национальной истории, в анализ текущего момента и футурологические изыскания, позволил не только упорядочить, структурировать сложную сеть общественных отношений, вскрыть тесную связь, существующую между частями этого процесса, но и установить их обусловленность отношениями экономическими, независимыми от сознания и воли людей. Таким образом, был существенно расширен методологический подход социологии к предмету исследования, углублено понимание истории и ее действующих (в том числе и научных) механизмов.

Выделение экономических отношений как главных, главенствующих в общественном сознании и общественной практике, определяющих все остальные отношения, существующие в обществе, позволило установить в качестве социальной закономерности повторяемость определенных структур и форм. Такая повторяемость, цикличность отмечалась и ранее, но лишь как эмпирический феномен. Теперь же повторяемость социальных явлений была подвергнута анализу на предмет классификационной близости, устойчивости, универсальности и надгосударственной распространенности. В результате появилось понятие *общественной формации*, выражающее суть того общественного бытия, которое, с одной стороны, определяет сознание, характер содержания социальной деятельности людей, а с другой — само является результатом этой деятельности. Такой методологический подход дал возможность переместить исследования феноменов общественной жизни с описательного уровня явлений и процессов на уро-

вень их научного объяснения с позиций социальных закономерностей.

Теория социального детерминизма, выстроенная на основе предпочтительного экономического анализа и признания фундаментальности формационного деления общества, помогла ученым естественным образом выбраться из лабиринта социальных абстракций, в котором в значительной мере проистекало движение научной мысли социологов. Общество вообще, личность вообще, как все более явственно показывала практика социологических исследований, не могли полноценно взаимодействовать в некоем пространстве-времени вообще, без существенных потерь научности в итоговом выводе. Требовались константы, система координат, должное структурирование и математизация процесса социологического исследования. Социальный детерминизм создал и членам общества, и исследователям закономерностей общественного развития почву для разумных сознательных действий. Он утвердил в качестве исходного критерия аксиому о том, что человек является не только объектом, но и субъектом социального действия, субъектом общественного развития, субъектом истории.

Вместе с тем длительное, на протяжении десятилетий советского периода, безальтернативное доминирование в общественных науках принципов экономического и социального детерминизма, философцентризм в худших, догматических проявлениях, тотальный диалектический подход к социальным явлениям и т.п. с неизбежностью привели к догматизму и начетничеству, к политической апологетике, к застою и все большему отставанию русской (со-

ветской) социологии от общемирового уровня. Лишь «оттепель» 60-х гг. прошлого столетия положила конец этому «ледниковому периоду».

В этих бедах отечественной социологии оказались виновны не столько сами социологи и родственные им ученые-обществоведы, сколько представители советской власти и партocrats, требовавшие от научного сообщества не просто лояльности к себе, общественному и политическому строю, но и беспрекословного апологетического служения. А ведь «социологическая теория К. Маркса никогда не претендовала на то, чтобы все объяснить, а только на то, чтобы указать один из продуктивных научных приемов объяснения процессов становления, функционирования и развития человеческого общества» [83, 11].

Анализ фактов на предмет получения социальной информации предполагает наличие не только четких общетеоретических принципов, но и научно разработанной системы анализа, социального знания независимо от того, идет ли речь о работе с материалами субъективного или объективного характера.

Характерной особенностью интересующего нас периода является наличие в нем обширного комплекса социальных и одновременно научных явлений, которые определяли и регулировали процесс становления русской социологии. Это:

- явно выраженное освободительное движение в стране;
- гуманистический период отечественной западной идеологии как доминирующей гуманитарной идеи в сознании русской интеллигенции;
- появление теории социальной детерминированности и формационной сруктуризации общества;

- экономический детерминизм и материализм;
- социалистические принципы общественного строительства в преломлении учения К. Маркса и т.д.

И конечно же, широкое распространение в отечественной литературной практике принципов очеркового (прозаического) физиологизма, понимаемого нами как **«литературный социологизм»**. Шесть (весьма условно и приблизительно!) источников, составных элементов русской социологии...

### ***Формы проявления и механизмы действия социальных законов***

Социальная деятельность, по мнению значительного числа отечественных социологов, является объективным феноменом существования и функционирования людского сообщества, при этом даже в своих наиболее радикальных проявлениях (преобразование материального мира и самого человека) практически не зависит от сознания и воли как индивидуума, так и человечества в целом. Такой подход был (и остается поныне) характерным для ортодоксального материалистического мировоззрения, базирующегося на постулатах раннего марксизма, хотя подобного рода обожествление «объективных социальных законов», на наш взгляд, как раз реально разрушает материализм, оставляя все незамысловатое философско-социальное построение без главного материалистического объекта — человека, его осознанной воли. Попытка заменить человеческую волю достаточно расплывчатым понятием «социальных законов» вообще ведет к чистейшей воды идеализму. В отсутствие человека как творца этих законов его роль, выходит, должен



играть некий «надчеловек», т.е. Божество или, по крайней мере, идея Божества. Ведь кто-то (что-то) все же должен быть автором этих пресловутых социальных законов! «Из того, что вы живете и хозяйничаете, рождаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего *общественного* сознания, не охватываемая им полностью никогда» [66, т. 18, 345], поучает массу великий социальный реформатор. Но разве сам факт такого, а не иного «хозяйничанья» человека в социуме не свидетельствует о наличии воли и выбора, об их существенном значении при выстраивании социальной конструкции общества, векторов его развития? Можно ведь производить продукты, а можно пребывать в нирване лени. Можно обменивать их, а можно отнимать, «экспроприировать» и перераспределять, опираясь на силу, подкрепленную демагогической идеей равенства всех членов общества. Ясно, что, выбрав одну из этих моделей общественного поведения, в результате мы получим принципиально различные теперь уже *модели общественного устройства*. Ну а если вдруг в массовом сознании созреет бредовая идея альтернативы «рождению детей», то нетрудно определить, притом с точностью до нескольких лет (!), когда людскому сообществу как таковому настанет последний предел.

Осознавая все это, уже «первый русский марксист» Г.В. Плеханов пытался хоть сколько-нибудь уравновесить глубокие противоречия, заложенные в противопоставлении тотального приоритета в социальном мире так называемых «социальных зако-

нов» свободной воле индивидуума, действующего на основе этого весьма вольно прописанного законодательства. Он утверждал, что законы социального развития так же мало «могут осуществляться без посредства людей, как законы природы без посредства материи» [93, т. 1, 204].

«Производя в процессе социальной деятельности общество, человек определяет направление, содержание и характер его функционирования и развития. Именно поэтому социальные законы — это законы социальной деятельности людей...» [99, 21].

Сколь ни спорной представлялась бы нам теория возникновения и развития социальных законов общества, невозможно отрицать их наличие в людском сообществе. Следовательно, небесполезной представляется нам анализ этих законов.

Социальные законы:

- определяются отношениями между различными индивидами и социальными общностями;
- логически выстроены, исходя из стремления людей наиболее полно удовлетворить собственные потребности;
- корректируются как в сторону ускорения, так и в сторону замедления развития чаще всего неосознанными усилиями индивидуумов различных социальных качества и интересов.

Отсюда следует, что *действие объективных социальных законов находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей, жизненных обстоятельств и конкретных условий жизнедеятельности индивидуумов.*

Наиболее интересно для нашего исследования понятие **средней равнодействующей величины** как

основного коррелятора процесса проявления социальных законов.

Уже цитировавшаяся нами выше «Рабочая книга социолога» следующим образом определяет это понятие применительно к социологии.

*«Средняя равнодействующая величина, определяющаяся суммой случайных величин — индивидуальных социальных действий личностей, имеющих общие основные признаки, и выражающая определенную степень совпадения индивидуальных целей с социальными целями общества, выступает как форма проявления социального закона» [99, 22].*

Если рассматривать с установкой на выведение средней равнодействующей величины материал отобранных и подготовленных нами для анализа физиологических очерков и социологических исследований, то к разряду «индивидуальных социальных действий» мы вполне можем отнести:

— природу трудовой деятельности индивидуума, которая хоть и различается весьма значительно у делателей «мелкой промышленности московской» (по Н. Полевому и Т. Кокореву) и фабричных рабочих (по М. Туган-Барановскому), но, по сути, служит одной социальной цели — обеспечить выживание и воспроизводство самих делателей и их семей;

— схожесть до нередкой тождественности жизненного уклада указанных выше субъектов трудовой деятельности;

— схожесть в большинстве своем неосознанных религиозных верований и практик и морально-нравственных императивов всех субъектов описываемых процессов, схожесть, обусловленная их уни-

версальной для всех недавней крестьянской предысторией.

Установив схожесть основных *объектов* нашего анализа, мы можем утверждать, что принципиально схожи методы и стилистика их *отображения* как в физиологическом очерке, так и в социологическом исследовании. В нашем случае это — детальный рассказ о процессе труда, его результатах, мере прибыльности или убыточности, наметки анализа, обобщения и прогноза. А то, что в процессе анализа проявились и различия, их, согласно общепринятой теории функционирования социальных законов, вполне можно отнести к категории «отклонений», которые тем в большей мере «погашаются», нивелируются, чем с большего социального расстояния рассматриваем мы как само явление, так и совокупность участвующих в нем индивидуумов. В конечном итоге социальная закономерность «не может проявляться иначе как в средней, общественной, массовой закономерности при взаимопогашении индивидуальных отклонений в ту или другую сторону» [66, т. 26, 68].

При декларированной нами задаче уловить схожесть первых отечественных социологических исследований с близкими по тематике физиологическими очерками («рабочая тема» дополнительной скрепой соединяет очерки Н. Полевого и И. Кокорева с социологическими изысканиями об истории и сегодняшнем дне русской фабрики М. Туган-Барановского) можно сказать, что различия, так называемые *отклонения*, в наибольшей мере проявлены в отдельных конкретных очерках и социологиях, тогда как *собственно массив* физиологических очерков и со-

циологий демонстрирует «взаимопогашение» этих различий на пути к искомому интегралу — средней равнодействующей величине.

### ***Выработка социальных показателей***<sup>22</sup>

Проблема квантифицированного представления социальных показателей весьма многопланова и сложна. Мы целенаправленно рассмотрим эту проблему в аспекте выработки показателей, имея в виду возможность их последующего применения в принятом нами сравнительном анализе.

Можно выделить два главных подхода к этой задаче: первый основан на теоретическом анализе, второй — на эмпирическом. Первый охватывает всевозможные дедуктивные методы развертывания категорий в понятия, понятий в показатели, показателей в индикаторы [111, 189]. Второй подход, конечно, лишь условно может быть назван эмпирическим, ибо включает в себя большой элемент теоретических представлений. Одним из интересных приемов формирования и выделения показателей отдельных сфер общественной жизни является «метод комиссии». По существу, это вариант экспертного опроса специалистов различного профиля для выделения всего поля показателей, относящихся к данному явлению или процессу с последующим сужением этого поля с помощью ряда статистических процедур.

Важную роль в выработке социальных показателей играют конкретные социологические исследова-

---

<sup>22</sup> При подготовке этого раздела использована глава «Показатели и индикаторы социального развития и планирования» в монографии Г.В. Осипова «Теория и практика социологических исследований в СССР» [87, 197 — 229].

ния. Далее мы рассмотрим основные типы задач, связанные со статистическим анализом результатов этих исследований, и проблему выделения показателей.

Главная особенность построения показателей в том, что многие из них нельзя непосредственно измерить; они синтезируются из нескольких переменных (число таких переменных достигает десятков и сотен), числовые значения которых можно определить для объектов или явлений в процессе исследования. Вопрос о том, какие переменные могут выступать в качестве отдельных показателей, решается на основе теоретических представлений и существенно зависит от уровня социальной подсистемы, для которой эти показатели вырабатываются. Например, переменная «пол» часто рассматривается как независимый показатель, а такой показатель, как «социальная эффективность организации», безусловно, является функцией от многих переменных. Задача построения одного показателя по набору переменных усложняется тем, что в этот набор могут входить переменные, измеренные в разных шкалах — номинальной, порядковой, интервальной.

Процесс конструирования показателей является многоэтапным; он начинается с анализа одномерных распределений каждой переменной, вычисления различных характеристик: средней, дисперсии, моды, медианы и др. Такой анализ позволяет выявить особенности каждой переменной и устранить из всего набора те из них, которые имеют наименьшую информативность. На втором этапе исследуются простейшие зависимости между переменными.

При анализе связей между двумя переменными (скалярными)  $x$  и  $y$  можно использовать различные коэффициенты корреляции. Если, например, две пере-

менные измерены в количественной шкале, то обычно применяется коэффициент линейной корреляции:

$$r_{xy} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}},$$

где суммирование производится по всем объектам выборки и

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i; \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_i y_i.$$

Здесь  $N$  — объем выборки.

Если один из признаков измерен в номинальной шкале, то коэффициент  $r_{xy}$  теряет смысл. В этом случае используются более сложные коэффициенты. Для номинальных признаков (а также ранговых) основой для вычисления силы связи служит таблица сопряженности, где на пересечении столбца  $j$ , соответствующего  $jx$  градации признака  $y$ , и строки  $i$  ( $i$  градации признака  $x$ ) стоит число объектов, имеющих одновременно значение  $i$  по признаку  $x$  и значение  $j$  по признаку  $y$ .

Ряд коэффициентов (Пирсона, Чупрова, Крамера) основан на статистике  $c^2$ . Эти коэффициенты можно использовать для измерения как номинальных, так и ранговых признаков.

Если признаки ранговые, то применяется коэффициент Кендалла и Спирмена согласно общей формуле:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{ij} a_{ij} b_{ij}}{\sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2 \sum_{ij} b_{ij}^2}},$$

где  $a_{ij}$ ,  $b_{ij}$  определяются в соответствии с выбранной мерой связи.

Кроме этих мер связи применяются информационные коэффициенты, меры для дихотомических переменных и др. Широкий набор коэффициентов дает возможность глубже исследовать поведение каждой переменной в зависимости от других. Вычисление парных связей особенно уместно, когда имеется некоторое заранее выделенное подмножество переменных, зафиксированных в качестве показателей (например, пол, возраст), и необходимо найти степень зависимости этих показателей от других переменных. На следующих этапах решаются задачи собственно построения показателей и выявления отношений между ними. Общая модель, описывающая связи между совокупностями переменных, имеет вид:

$$Y = X \Gamma B + U,$$

где  $Y$  — вектор наблюдений зависимой переменной;  $X$  — матрица наблюдений по независимым переменным;  $B$  — вектор-параметр;  $U$  — вектор ошибок (добавочный член).

Из этой общей модели выводятся как частные случаи модели факторного, компонентного и других анализов. Деление переменных на зависимые и независимые условно, оно определяется в каждой модели особо. Рассмотрим более подробно модель факторного анализа. Факторный анализ как статистический метод получил большое распространение в экономике, психологии, социологии и других науках. Его применимость для построения социальных показателей определяется прежде всего возможностью в рамках этой модели свести большое число переменных к значительно меньшему числу новых перемен-



ных, называемых факторами. При этом линейная комбинация этих факторов с достаточной точностью описывает исходные переменные. В уравнении  $Y$  соответствует исходным переменным;  $B$  — факторы;  $X$  — так называемая матрица нагрузок факторов  $B$  в переменных  $Y$ . Число факторов задается заранее. Решение задачи находится путем минимизации различий между корреляционными матрицами, вычисленными по исходным переменным и по переменным, представленным через комбинации гипотетических факторов. Полученное решение проверяется на полноту, т.е. выясняется, достаточно ли точно описывает исходные переменные полученная система факторов. При увеличении числа факторов точность повышается, но вместе с тем теряется основное достоинство метода — максимальное уменьшение числа факторов. Оптимальное решение выбирается на основе содержательных соображений. Оно отражает компромисс между точностью и числом факторов. Если каждый фактор интерпретируется, то полученную систему факторов можно назвать эмпирической системой показателей.

Модель факторного анализа предъявляет довольно жесткие требования к переменным, подлежащим анализу (например, требование количественной шкалы). Для номинальных признаков и отчасти для ранговых такая модель не подходит (в настоящее время разрабатываются модели факторного анализа для таких переменных, но они еще не получили распространения). В таких случаях можно с успехом применить методы кластерного анализа. Для этого строится матрица корреляций (коэффициенты могут быть любого, но одного типа), и за-

тем с помощью кластерных процедур выделяются пучки связанных между собой переменных. В качестве показателей можно взять переменные, которые находятся в центре пучков. При таком подходе показатель-переменная непосредственно измеряется и имеет четкую интерпретацию, если выбранная переменная близка по своему смысловому содержанию к остальным переменным пучка. Важным этапом в процессе построения показателей является установление отношений порядка (если такой существует), иерархии соподчинения в наборе переменных. Выявление такого порядка помогает качественно провести отбор переменных для конструирования показателей. Главным методом для обнаружения отношений порядка является причинный анализ связей этого набора [88].

При построении социальных показателей часто возникает задача установления вида зависимости между показателем и переменными, которые его определяют. Такого рода задачи решаются методами регрессионного анализа. В этом случае в уравнении  $Y$  есть показатель, а  $X$  — матрица наблюдений по независимым переменным (в случае линейной регрессии). Подчеркнем, что в этой задаче показатель определен и известны его числовые значения для каждого наблюдения. Неизвестна только форма зависимости между ним и другими переменными. Решение задачи, т.е. нахождение вектора-параметра  $B$ , ищется путем минимизации квадрата отклонений фактических значений показателя от тех, что выражены через независимые переменные. Достоинством регрессионного анализа является то, что с его помощью можно прогнозировать значение показателя

при изменении значений независимых переменных. Основная трудность для применения этого метода — это неопределенность при выборе конкретной формы уравнения. Это касается тех ситуаций, где линейная форма приводит к значительным погрешностям и необходимо вводить нелинейные члены. Существенным подспорьем могут быть коэффициенты корреляции, вычисленные на предыдущих этапах. Но основное при построении регрессионного уравнения — это интуиция и опыт исследователя.

В последние годы появились математические методы, которые могут плодотворно участвовать в решении задачи построения показателей. К таким методам относятся методы многомерного шкалирования и распознавания образов. При многомерном шкалировании исходными данными являются матрицы близости между наблюдениями или объектами. Специальные процедуры позволяют описать эти наблюдения некоторым небольшим числом переменных, так чтобы матрица близости, вычисленная между наблюдениями по этим переменным, незначительно отличалась от исходной матрицы. Этот метод позволяет обходиться без предварительных замеров по априорному набору переменных, что существенно расширяет возможности его применения при анализе некоторых видов данных, например результатов экспертного опроса.

С помощью методов теории распознавания образов можно решать достаточно широкий круг задач, связанных с построением и измерением социальных показателей. Одним из методов распознавания образов является уже упоминавшийся кластерный анализ, выполненный для классификации переменных.

С помощью кластерного анализа строится также эмпирическая типология объектов или явлений. Полученные в результате классификации номера типов (классов) рассматриваются как элементы номинальной шкалы новой переменной (классификационной переменной), которую можно считать синтезированным представлением всех исходных переменных. Отличительной особенностью методов классификации является то, что они могут работать с наборами переменных, измеренных по разным шкалам, в то время как эта сложность ставит часто непреодолимый барьер для применения традиционных статистических методов.

В заключение отметим следующее. Рассмотренные выше методы ни в коем случае нельзя считать абсолютно надежными и единственными способами измерения показателей по статистическим данным. Каждый упоминавшийся метод образует только звено в цепочке решения этой задачи. И каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Недостатки эти особенно заметны, когда сталкиваются с крупной проблемой, какой является проблема выработки социальных показателей. Сама постановка этой проблемы служит мощным стимулом как для совершенствования традиционных методов, так и для создания новых.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### «Оттепель» (60—70-е гг. XX в.): возрождение отечественной социологии, ренессанс социологизированной прозы

#### 2.1. Возрождение отечественной социологии

**П**риимерно с середины 50-х гг. в СССР начался период самоотверженной, порой трагической борьбы социологов за утверждение гражданского и научного статуса социологии. Советским ученым-социологам в условиях еще всепильного партократического режима к началу 60-х гг. удалось создать систему социологического знания и добиться признания социологии как науки, сломив сопротивление противостоявшей им объединенной армии философов-марксистов и безраздельно господствовавшей в СССР, хорошо отлаженной машины партийной, государственной и идеологической власти.

Справедливости ради следует отметить, что в практике отечественной социологии после Октября-

ского переворота и установления в стране советской власти (1917 — 1929) имели место некоторые позитивные тенденции. Активно и плодотворно трудились на ниве социологии П.А. Сорокин и К.М. Тахтарев. Первый в 1919 г. создает Социологический институт и кафедру социологии, второй в это же время — Институт социологии и кафедру социологии. Множатся социологические исследования, среди которых были и довольно экзотические по тематике, как, например, «Половая жизнь партактива», «Положение религиозного сектантства в СССР» и т.п., которые объективно расширяли представление об обществе, вовлеченном в небывалый в мировой истории социалистический эксперимент. Возобновляет деятельность социологическое общество имени Максима Ковалевского, объединившее социологов и организации профессиональных социологов России. Председателем его стал Николай Иванович Кареев.

В два первых десятилетия советской власти появились многочисленные социологические исследования. Публиковались работы, характеризовавшие экономический быт разных категорий населения, не исключая ремесленников, отходников, даже частных (во времена нэпа). Социологи того времени могли опираться (и опирались!) на объективные данные, благо статистика, в отличие от позднесталинского советского периода, оставалась широкодоступной, и исследователям не приходилось «выбивать» в надзорных инстанциях визы и допуски, да и то лишь с ограниченным правом служебного пользования, к статистическим материалам.

В это же время (1922) известный деятель ВКП(б), впоследствии действительный член АН СССР Нико-

лай Иванович Бухарин публикует монографию под названием «Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии», в которой отождествляет исторический материализм с марксистской социологией и провозглашает его единственно научной формой этой гуманитарной дисциплины. Издание монографии Н.И. Бухарина и его последователей (С.А. Оранский и др.) явилось первым шагом к кардинальному пересмотру предшествующего наследия отечественной социологии с позиций марксизма. Но, несмотря на это, социология продолжала сохранять гражданский и научный статус в российском обществе [51].

В 30-е гг. параллельное, относительно мирное сосуществование двух социологических школ (традиционной и марксистской) было прервано. На социологические методы исследования общества, на изучение конкретных процессов и явлений социальной жизни и на само понятие «социология» был наложен строжайший запрет. Социология была объявлена буржуазной лженаукой, не только не совместимой с марксизмом, но и враждебной ему. С выходом в свет работы И. Сталина «О диалектическом и историческом материализме» исторический материализм был возведен на Олимп философского знания, а социологическое знание даже в форме исторического материализма, как знание нефилософское, было «упразднено». С этих пор теория и методология, понятийный аппарат «науки об обществе» стали рассматриваться на крайне абстрактном философском уровне, с позиций диалектического и исторического материализма (И. Луппол, М. Митин, Ф. Константинов и др.). Совершился

качественный переворот в подходе к научному социологическому знанию. По сути, оно только что отпочковалось от знания философского, не успело стать на ноги, как было упразднено.

Оформила этот переворот, вернее запрет, дискуссия в Институте философии коммунистической академии по проблемам философии и социологии (1929), в ходе которой был сделан категорический вывод: «социология — это лженаука, выдуманная французским реакционером Огюстом Контом<sup>23</sup>, само это слово (т.е. “социология”) не должно использоваться в марксистской литературе»<sup>24</sup>. Социология на государственном уровне утратила гражданский и научный статус. Более чем на два десятилетия развитие отечественной социологии было приостановлено.

Отсюда следует вывод: на место отечественной социологии как науки была поставлена философия. Будучи возведена в ранг официальной идеологии, философия марксизма-ленинизма (диалектический и исторический материализм) подорвала реальные основы не только социологии, но и всех других социальных наук. Лишившись социологии, российское общество лишилось действенного индикатора «социальной погоды», инструмента анализа и познания социальной реальности. Восторжествовало знание социально-мифологическое, или, иначе, социально-утопическое.

---

<sup>23</sup> Впервые имя О. Конта как основоположника социологической науки было реабилитировано советским философом М.П. Баскиным в статье, посвященной 160-летию со дня его рождения.

<sup>24</sup> См. подборку журналов «Под знаменем марксизма» за 1929 г.



Ведущий исследователь современного периода отечественной социологии академик Г.В. Осипов<sup>25</sup> считает, что на некоторое изменение отношения к социологическому знанию со стороны правящего режима, точнее — к конкретным социологическим (социальным) исследованиям, так как сам термин «социология» все еще находился под запретом, повлияли следующие обстоятельства:

- Постановление Президиума ЦК КПСС (1955), разрешившее советским ученым участвовать в III Всемирном социологическом конгрессе (Голландия);

- легализация понятия «конкретные социологические исследования» (как синоним понятия «конкретные социальные исследования») после участия советской делегации в работе III Всемирного социологического конгресса (1956, П.Н. Федосеев);

- проведение в Москве 23 сентября 1957 г. Международного совещания социологов по вопросу о мирном сосуществовании. В совещании приняли участие крупнейшие социологи мира (Ф. Арон, Ж. Фридман, А. Холландер, Э. Хьюз, Х. Шельски, Т. Боттомор);

- публикация статьи Юргена Кучинского в журнале «Вопросы философии» №5 (1957), где впервые после долгих запретов и умолчаний был поставлен вопрос об изучении социологических законов;

- учреждение Президиумом АН СССР 18 февраля 1958 г. в соответствии с Постановлением Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных связей (от 11 февраля 1958 г.) Совет-

---

<sup>25</sup> См. [83], [89], [94] и др.

ской социологической ассоциации (пред. Ю. Францев, зам. Г. Осипов);

- организация в 1960 г. в Институте философии АН СССР первого в стране социологического подразделения — Сектора новых форм труда и быта (зав. Г. Осипов); создание в том же году в Ленинградском государственном университете первой в стране социологической лаборатории (рук. В. Ядов);

- осуществление в начале 60-х гг. четырех крупных социологических проектов в Свердловске, Москве, Ленинграде и Молдавской ССР;

- приезд в Институт философии АН СССР (1961) представительной делегации польских социологов во главе с А. Шаффом в составе З. Баумана, М. Осовской, Л. Колаковского и др.;

- начало проведения по инициативе «Комсомольской правды» (1961, Б. Грушин и др.) опросов общественного мнения;

- обсуждение по инициативе А. Соболева проблем социологии и социологических исследований общественных процессов в журнале «Проблемы мира и социализма» (1961);

- создание социологических подразделений при ЦК ВЛКСМ (В. Васильев, В. Чупров, А. Кулагин) и АОН при ЦК КПСС (И. Петров);

- постановка в докладе секретаря ЦК КПСС Л. Ильичева на Президиуме АН СССР вопроса о праве социологии на гражданство (18 сентября 1963 г.)<sup>26</sup>;

---

<sup>26</sup> В своем выступлении Л.Ф. Ильичев [78, 132–138] четко обосновал тезис о гражданском статусе социологии, но в форме марксистской социологии, т.е. одного из направлений социологического знания.

▪ решение Президиума АН СССР от 25 февраля 1966 г. о преобразовании Сектора новых форм труда и быта в Отдел конкретных социологических исследований Института философии АН СССР<sup>27</sup>; этим же решением был создан Научный совет по проблемам конкретных социальных исследований при Президиуме АН ССР (пред. А. Румянцев, зам. Г. Осипов).

Вместе с тем советские социологи постоянно испытывали на себе тяжелое давление власти, с одной стороны, с другой — неприятие ученых, занимавшихся вопросами марксистско-ленинского обществоведения, в первую очередь — исторического материализма.

Значительная часть первичной информации, представляющей огромную научную ценность, крайне необходимой властным структурам для решения насущных социальных проблем, оставалась в архивах. Многие тревожные сигналы социологов о нарастании конфликтов в трудовой сфере, об отчуждении власти от народа, о варварском отношении к природе, о развитии националистических тенденций в

---

<sup>27</sup> В составе Отдела решением Президиума АН СССР были утверждены секторы: методологии, методики и техники социальных исследований, социальных и социально-психологических проблем личности, общественного мнения и эффективности идеологической работы, социальных проблем развития трудовых коллективов, социальных проблем организации и планирования науки, социальной психологии, прикладных социальных исследований. Соответственно их возглавили: Ю. Левада, И. Кон, Б. Грушин, Г. Осипов, А. Зворыкин, П. Мансуров, В. Васильев. К научной работе Отдела были привлечены также выдающиеся ученые Ю. Семенов, А. Здравомыслов и др. Г. Осипов был утвержден зав. Отделом, а Н. Лапин стал зам. зав. Отделом.

стране и др., которые они адресовали директивным органам, не только не принимались во внимание, но и осуждались как, якобы, тенденциозные и провокационные. В отдельных случаях их инициаторы подвергались даже партийным и административным взысканиям. Более того, многие научные понятия, например, такие, как «социальная статистика», «социология труда», «социология семьи», «социальная экология», «социология религии», «социология культуры» и др., даже в период признания «прикладной социологии» оказались под запретом. Используя их ученые могли быть зачислены в разряд «последователей и пропагандистов реакционной буржуазной социологии». И все же, несмотря ни на какие ограничительные и запретительные санкции, конкретные социологические исследования в стране проводились, что неизбежно сопровождалось расширением сферы теоретического социологического знания, овладением понятийным и методологическим аппаратом социологии. Социологическое знание постепенно преодолеvalo узкие ограничительные рамки «марксистской социологии», все более и более завоевывая статус самостоятельной науки.

В середине 1960-х гг. начинают появляться первые крупные труды, обобщающие итоги конкретных социологических исследований. Издается пятитомник избранных произведений одного из пионеров социальной инженерии и конкретного социального анализа С.Г. Струмилина. Выходят монографии: «Копанка 25 лет спустя» (1965); «Рабочий класс и технический прогресс» (1967); «Человек и его работа» (1967). Существенный вклад в изучение социальных аспектов взаимоотноше-

ния свободного и рабочего времени внесли труды Г. Пруденского, подытоженные в книге «Время и труд» (1964). Широкий круг исследований социальных проблем брака и семьи был обобщен в классической монографии А. Харчева «Брак и семья в СССР» (1965).

Формально первое социологическое исследование (вернее, социально-философское) было инициировано группой свердловских ученых, в основном философов (рук. — М.Т. Иовчук, члены исследовательской группы — Г.А. Пруденский, М.Н. Руткевич, Л.Н. Коган и др.). Осуществлялось оно с теоретических позиций исторического материализма, с использованием традиционных абстрактно-дедуктивных методов, что нашло отражение в изданной по итогам исследования монографии [94].

Первыми исследованиями, проведенными с позиций индуктивных методов, с использованием современного арсенала методического инструментария социологии, стали работы московских и ленинградских ученых. Их приоритет в данном случае бесспорен. И в первую очередь здесь надо назвать имена Владимира Ядова и Андрея Здравомыслова.

Последующие исследования, которые проводились позже В.Н. Шубкиным, З.И. Файнбургом, Г.П. Козловой, Э.В. Клоповым, Л.А. Гордоном, Н.А. Аитовым, Г.Т. Журавлевым и рядом других, в определенном смысле следовали в фарватере этих двух основополагающих школ отечественной социологии.

Важным шагом на пути институционализации социологии в СССР явилось издание подготовленного сектором новых форм труда и быта Институ-

та философии АН СССР двухтомника «Социология в СССР» (1966), в котором обобщался опыт ряда социологических исследований, проведенных в различных сферах советского общества. В него вошли исследования по социологической теории, различным проблемам функционирования и развития социальной сферы (труда, быта и т.д.)<sup>28</sup>. В расширенном варианте двухтомник был издан и в Англии. Эта публикация заложила основы традиции издания примерно раз в два-три года обобщающих трудов по итогам развития отечественной социологии. Среди них: «Марксистская и буржуазная социология сегодня» (1964), «Социология и идеология» (1969), «Социология и современность» (в 2-х т. 1977), «Социология и проблемы социального развития» (1978), «Марксистско-ленинская теория социального развития» (1978) и др. Полная библиография всех научных исследований по проблемам социологии (1958—1978) и социальных исследований, проведенных с различных теоретико-методологических позиций, опубликована в монографии «Теория и практика социологических исследований в СССР» (М., 1979). Впервые по инициативе советских социологов было проведено международное сравнительное социологическое исследование по проблемам труда и индустрии (СССР, Польша), результаты которого были опу-

---

<sup>28</sup> Среди 50 авторов двухтомника представители различных школ социологии — марксистской социологии (исторического материализма) и собственно социологии как науки. В данное издание было включено все лучшее, что было сделано в области социологического научного знания — знания, основанного на конкретных фактах, полученных путем индуктивных методов.

бликованы на русском, польском и итальянском языках в монографии «Социальные проблемы труда и производства» (под общей редакцией Г. Осипова и Я. Щепаньского, 1970).

В стране стихийно сложилось мощное **социологическое движение**, объединившее большую группу философов и экономистов, представителей других научных дисциплин, которые перешли на позиции социологической науки.

Внутри государства, все еще тоталитарного, самодовольного и самоуверенного, строго охраняемого пропагандистским партийным аппаратом от ревизионизма и прочих ересей, многие люди, воспрянувшие после XX съезда КПСС, продолжали жить ожиданием свободы. А были и такие, кто в меру сил своих и возможностей стремился приблизить это долгожданное время. Большинство представителей советского социологического сообщества с легким сердцем можно отнести к таким свободолюбивым гражданам Отечества.

В чем *causa prima*<sup>29</sup> создавшейся ситуации? Прежде всего, в явлениях социального порядка: в советском обществе после исторического XX съезда КПСС стремительно ширились и набирали силу процессы, направленные на демократизацию общественной жизни. Представители, в первую очередь, городской интеллигенции не жалели усилий по развенчанию культа личности И.В. Сталина и, как в ту пору непременно следовало дополнить, по «восстановлению и творческому развитию ленинских норм и принци-

---

<sup>29</sup> Первопричина (*лат.*)

пов в общественных отношениях»<sup>30</sup>. Процессы эти, массовый настрой на демократические, либеральные трансформации строя, как уже отмечено нами выше, получили определение «оттепели».

В таком контексте социология, как наиболее мобильная и оперативная наука об обществе, о происходящих в нем процессах и трансформациях за короткий срок вновь выдвинулась на передний план научного, общественного интереса, овладела сознанием миллионов озабоченных судьбой страны граждан.

---

<sup>30</sup> По сути, так называемые шестидесятники заменили культ одного советского вождя на культ другого вождя, постоянно публично противопоставляя «плохому» Сталину «хорошего» Ленина. Советский идеологический аппарат, снисходительно разрешая, а то и вовсе поощряя антисталинскую риторику, решительно пресекал всяческие попытки ревизии марксизма-ленинизма, критики Ленина, советской модели социализма и десакрализации существующей власти как таковой. Отдав по указанию Хрущева на политическое заклание мертвого Сталина, идеологи компартии постарались оградить память о Ленине от маломальской нежелательной корректировки: одно из властных узаконений позволяло публиковать какие-либо новые сведения о «вожде революции» только с одобрения ИМЭЛа (Института Маркса — Энгельса — Ленина).

Вот как со слегка высокомерной иронией (еще бы, взгляд устремлен в ретроспективу, и практически нет шансов ошибиться!) пишет об отмеченном нами процессе кинокритик Ю. Богомолов в статье «Кинематограф, который мы заслужили» («Литературная газета». 1989. 6 сентября): «В шестидесятые годы над превозмогавшими стихийные бедствия и исторические катаклизмы людьми склоняли молча головы “комиссары в пыльных шлемах”. То были первосвященники и даже боги — они исповедовали и причащали романтиков-шестидесятников, которые считали своим первейшим долгом очистить обитаемый мир от псевдобогов и коварных оборотней. Тогда была тоже перестройка — ремонтировалось мироздание, корректировалось мирознание».



Социология становится в хорошем смысле слова модной наукой, заниматься ею не только интересно, но и престижно. Об этом свидетельствуют публикации тех лет. «Интерес к конкретным социологическим исследованиям охватил в последние годы огромный круг людей, — отмечает писатель и публицист В. Канторович и далее приводит чрезвычайно важное для нашего исследования пояснение. — **Литераторы отнюдь не представляют исключения.** И это понятно: **социология — родственная нам, писателям, наука**» (выделено мной. — *Авт.*) [47, 148].

Косвенным свидетельством моды на социологию, престижности труда социолога может служить тот факт, что маститый ученый, доктор философских наук Арсений Гулыга в исследуемый нами период публикует статью с уточняющим подзаголовком «Заметки социолога» [35, 217]. Ни ранее, ни позже этот крупнейший философ современности не замечен в подобном «социологическом» самоопределении.

К чести социологов, большинство из них весьма сдержанно и критически отнеслись к «моде на социологию». Серьезные ответственные ученые не уставали повторять, что мода эта, доступность массовому читателю страны лишь «облегченной» социологической информации и практическая недоступность серьезных научных трудов, обвальная «анкетомания», порожденная многочисленными опросами населения, которые проводили дилетанты (как правило, журналисты) впопыхах, без научной концепции, четкого плана, на основе лишь небрежно составленной опросной анкеты со случайными, не предполагающими системного результата, вопро-

сами и такого же качества опросной выборки, изначальная ориентация интервьюеров на получение «жареных» фактов, которые впоследствии можно было бы использовать в облегченных «сенсационных» публикациях с единственной целью повысить популярность, а следовательно, и тиражи изданий, весь этот истерический бум, взбитая им пена, лишь вредят серьезной социологической науке.

Видные социологи, собравшись на встречу за круглым столом в «Литературной газете» в мае 1966 г., резко выступили против компрометации своей науки не в меру ретивыми гражданами, против наблюдаемого повсеместно пренебрежения к строго научным методам.

**В. Ядов** (Ленинград):

— Социологией сейчас занимаются практики из милиции, суда, школы. Многие из них — энтузиасты, но не подготовлены к тому, чтобы вести исследования на научном уровне. Беда, если их выводы примут на веру...

**В. Шубкин** (Новосибирск):

— Сегодня мы, социологи, вроде можем даже кибернетиков переплюнуть в смысле популярности. Есть, однако, опасность: каждый человек, способный задавать вопросы, готов считать себя социологом... Пора поднять вопрос о гласности исследований, чтобы мы могли судить о методах, о репрезентативности материалов...

**Б. Грушин**, возглавлявший в то время институт общественного мнения при редакции «Комсомольской правды», высказался еще резче:

— Вокруг социологии халтурщики кружатся со страшной силой... [46, 148].

## 2.2. Не существующая, но партия... «Новый мир» 60—70-х гг.

Ну, говори поскорей,  
Что ты слышал про свободу?  
*Н. Некрасов*

Между тем подлинно научные социологические исследования печатались незначительными тиражами. Их расхватывали вскоре после выхода в свет, что опровергало высокомерное мнение о том, что массовому читателю неинтересны, скучны классические научные труды. Во многом благодаря актуальным социологическим публикациям существенно вырос авторитет академического журнала «Вопросы философии», регулярно публиковал материалы социологической тематики журнал «Вопросы литературы», но эти достойные источники не могли радикально изменить ситуацию дефицита социологической информации. К тому же круг читателей их был ограничен, в основном, представителями научного сообщества. Стремительно развивающейся советской социологии как воздух была нужна *общедоступная* публичная лекционная кафедра, агитационная трибуна, ристалище для общегражданской дискуссии, высококвалифицированный и благожелательный критик и рецензент. И наука об обществе вскоре обрела искомого партнера, который смог на высоком уровне удовлетворить всем этим многообразным запросам социологии, — общественно-литературный журнал «Новый мир».

Интерес был взаимным. В своем, как принято считать, программном обращении к читателям «Но-

вого мира», которым закрывалась 12-я журнальная книжка 1961 г., главный редактор А. Твардовский определил сотрудничество с учеными как одну из приоритетных задач редакции. «Мы всегда помним, что на титульном листе нашего журнала сказано: “Литературно-художественный и общественно-политический”, — и вторая половина этого обозначения не является случайной или формальной. <...> Разумеется, редакция далека от мысли, что публицистический отдел может в какой-либо мере заменить специальные издания, в которых читатель нуждается по роду своей профессии, в целях самообразования или в силу особых интересов к той или иной области знания. <...> Вокруг “Нового мира” сложился значительный актив авторов из числа видных советских ученых, общественных деятелей, публицистов, мастеров искусства и самих литераторов, тяготеющих к публицистической теме» [117, 252].

Действительно, ни одно отечественное периодическое издание не обладало в то время таким бесспорным авторитетом и внушительным авторским активом. В «Новом мире» в различные периоды «оттепели» печатали свои произведения А. Солженицын<sup>31</sup>, В. Быков, Ю. Домбровский, Ф. Искандер, И. Друцэ, К. Симонов, А. Твардовский, Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, В. Каверин, К. Паустовский, А. Герасимов, В. Астафьев, В. Гроссман, Ч. Айтматов и др. Журнал поддержал «самое плодотворное

---

<sup>31</sup> Исследователь творчества А.И. Солженицына петербургский социолог Д.Б. Цыганков впоследствии верно определит его как писателя, «вытягивающего на свет вытесненное и репрессированное» [125, 23]. Определение вполне подходит ко многим иным авторам журнала той поры.

явление русской прозы второй половины XX в. — прозу “деревенщиков”. [5, 26]. Важным для нас в отношении так называемой “деревенской прозы” является мнение саратовского социолога проф. П. Великого: «Точные диалоги и монологи сельских жителей, которые к настоящему времени **обоснованы как качественные методы социологии** (выделено мной. — *Авт.*), можно встретить в публикациях В. Овечкина, в последующие годы — В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова, что было не только «литературой», но и материалами для глубинного осмысления проблем деревни. Да и сами сельские социологи нередко выросли из журналистов, как, например, В.И. Староверов, плодотворная научная деятельность которого очевидна» [25, 42].

Как справедливо считает В. Кардин, «журнал Твардовского начался очерками В. Овечкина, романом В. Гроссмана (имеется в виду опубликованный в «Новом мире» в 1952 г. роман «За правое дело», в котором Великая Отечественная война предстала с непривычной по тем временам широтой и жестокой подлинностью. — *Авт.*) и статьей В. Померанцева «Об искренности в литературе» [49, 5]. Знаменательно, что из трех программных текстов два относятся к исследовательским жанрам.

Естественно, что стремление новомировцев «жить по правде», отражать жизнь в ее не всегда приятных глазу социальных реалиях не стало случайностью, а явилось выражением общей тенденции социально-политического развития советского общества той поры. «оттепель» и первая перестройка были вызваны кризисом идеологической системы, — утверждает близкий редакции “Нового мира” исследователь [43,

255—256]. — Не вдаваясь в политические, экономические и другие причины кризиса, можно лишь сказать, что долгое время сохранять “хорошую мину при плохой игре”, т.е. изображать воплощенную в жизнь Утопию при реально существующей деспотии, — трудно даже при условии, что Утопия, очерченная силовыми линиями идеологического поля, во многом воплощала “народные чаяния”, а сама реальность власти и жизни, построенная на строгом иерархическом (имперском) принципе, — также не противоречила “народному представлению о государственной власти”».

«В середине и в конце 50-х наметились — еще расплывчато — силы, противостоящие режиму. Началось единоборство, подготовленное, с одной стороны, великой победой в войне, с другой — контрнаступлением власти, не желавшей, чтобы победа возбудила умы. Силы эти были полицентричны, разнородны, зачастую — аморфны. Едва ли не оплотом интеллектуально-духовного сопротивления становится “Новый мир”. Он вырвался из однообразного, как солдатский строй, журнального ряда и уже тем самым побуждал самоопределиваться другие журналы 60—70-х гг.» [32, 6].

Во многом усилиями «Нового мира» в стране было сформировано то, безусловно, прогрессивное для своего времени общественно-политическое направление, которое впоследствии получило определение «шестидесятничество». «Шестидесятничество» стало единственно возможным путем преодоления коммунистической ментальности, которой все были так или иначе заражены...» [128, 240], — считал автор «Нового мира», человек науки, некогда причастный к оборонке, Ю. Шрейдер.

«Новый мир» от выпуска к выпуску, от одной сенсационной публикации к другой не просто, что называется, «набирал очки» в постоянной борьбе, которую ведет каждая редакции за читателя, за общественный авторитет и признание, но становился бесспорным лидером в среде «толстых» журналов, как сейчас принято говорить, *культовым изданием* советской интеллигенции демократического мировоззрения. «Журнал, “превышая свои полномочия”, стремился поднять уровень человеческих и общественных отношений, литературно-эстетический уровень. Едва ли не каждая его книжка — весть о возможности и необходимости совершенствовать жизнь, уготованную нам» [128, 4].

«“Новый мир”, случалось, называли на Западе “либеральным” журналом, — вспоминал позже заведующий отделом критики редакции в 1962 — 1966 гг. В. Лашкин. — Мы возражали: не либеральный, а демократический. То есть журнал выступал не за одно лишь “ослабление” узды, накинутаой на интеллигенцию, а за широкие демократические права для всех, для общества в целом. Демократизм в нашем понимании, несомненно, включал в себя уважение к свободе слова, но и внимание к народной боли, к заботам и беде людей, живущих в краях, далеких от столиц. Коренное для Твардовского чувство было выражено в строках его поэмы:

...Я всюду видел тетку Дарью  
На нашей родине с тобой» [63, 13].

Перефразируя известное выражение Е. Евтушенко о том, что поэт в России больше чем поэт, сме-

ло можно утверждать, что и журнал «Новый мир» в стране, где робкая политическая и идейная «оттепель» то и дело сменялась охранительными заморозками, объективно выполнял большие функции, нежели однотипные ему издания. «То, что в 60-е гг. “Новый мир” был один такой журнал среди “толстых” литературных ежемесячников, составляло большую привилегию и одновременно огромную трудность для издания: все время на виду, все время под обстрелом. <...> Вспомним социальный фон тех лет: газеты переполнены казенными статьями, штампами и пропагандой; лишь изредка вырывалось на их страницы честное слово» [63, 12]. Рассматривая в русле нашего исследования феномен «Нового мира» 60—70-х гг. прошедшего столетия, имеем все основания определить его как ведущий *социально-политический институт* своего времени<sup>32</sup>.

Как свидетельствует сотрудник «Нового мира» Ю. Буртин, после 1964 г. направление журнала объективно приобрело оппозиционный характер, самым ходом вещей он был вынужден стать неформальным органом демократической и социалистической оппозиции [58, 5].

Представляется важным уточнить тот феномен, который Ю. Буртин определил термином «социалистическая оппозиция». Критическое отношение «Нового мира» к недавней тоталитарной истории Советского Союза, в первую очередь — сталинско-

---

<sup>32</sup> Интересная читателю и полезная научному исследователю информация о различных аспектах деятельности «Нового мира» исследуемого нами периода содержится в следующих публикациях: [18], [123], [118], [64], [63], [28], [43], [127], [128], [58], [49], [48], [14], [3] и др.



го периода, к продолжавшейся и в «оттепель» чрезмерной заорганизованности общественной жизни, к зачастую противоречащим здравому смыслу многочисленным запретам и идеологическим табу властей, не являлось так называемым диссидентством<sup>33</sup> — явлением, которое предполагало активную, фактически профессиональную антисоветскую, антисоциалистическую деятельность, а для осуществления оной — постоянные контакты с зарубежными эмигрантскими организациями такой же антисоветской, антисоциалистической направленности (Народно-трудовой союз (НТС), русская редакция радиостанции «Свобода», издательство «Посев», журналы «Континент», «Грани» и т.д.), организациями, которые активно поддерживались (в том числе и финансово) спецслужбами Запада. На каждом этапе фактически не прекращающегося с начала 60-х гг. идеологического противостояния властям «Новый мир» в пандан своему главному редактору **оставался приверженцем сохранения и укрепления советской власти, укрепления и развития социалистического строя, в рамках которых большинству сотрудников редакции и авторов журнала и мыслилось дальнейшее развитие истинной демократии, утверждение в стране подлинного народовластия.**

Думается, наиболее точно, четко, как это случилось не раз, выразил позицию новомировцев в отношении социально-политического строя Советского Союза В. Лакшин: «Для нас слово “социализм” не было пустым звуком. Но жажда истины была больше. Говоря

---

<sup>33</sup> «Диссидент» от лат. *dissidens* — несогласный. Подробнее см. [11].

о социализме, мы разумели в нем некий идеал, нераздельный с понятиями о свободе, демократии, правде, и не уставали критиковать жизненные проявления того, что во времена Хрущева и Брежнева звалось “реальным социализмом”» [63, 23].

«Дорогие друзья! Редакционная коллегия, редакция и авторы журнала “Новый мир” горячо поздравляют вас с праздником 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Вместе с вами, со всем советским народом и трудящимися всего мира мы гордимся историческими завоеваниями первого полувека Советской власти, верим в безграничные возможности нашей страны, строящей коммунизм» [58, 223].

Под этим текстом поставили подписи сотрудники и большинство основных авторов журнала. Конечно, так в те времена *было принято*, и не все подписанты до конца были искренни в своих верноподданнических чувствах. Но, с другой стороны, в те же самые времена за отказ подписать вполне рутинное юбилейное обращение уже не сажали и не ломали судьбы...

Велика заслуга в росте авторитета и популярности журнала его главного редактора, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича Твардовского. «Твардовский был явлением очень широким, и в наше отдельное, рядовое понимание не резон его втискивать. Упростим. Обедним. Если верно тривиальное выражение, что большой художник — это целый мир, а оно и тривиально, поскольку верно, то зачем же сужать этот мир?» [56, 14–15]. Слова эти принадлежат журналисту-фронтовику, литератору, литературному критику Алексею Ивановичу

Кондратовичу, который не просто оба раза «прихода» А. Твардовского в «Новый мир»<sup>34</sup> становился его заместителем, правой рукой главного редактора, но и питал к боевому товарищу, личному другу самые теплые чувства, необычайно высоко ценил его поэтический талант, стойкую, мужественную позицию руководителя редакции. «Все-таки удивительно цельной личностью был Твардовский. Это не мной замечено, а многими знавшими его. Цельной, но не застывшей, а постоянно меняющейся и в то же время верной самым главным жизненным и творческим принципам, ну, скажем, этому коренному — правде жизни. И об этом можно было бы написать целую работу» [56, 315].

Почти все новомировцы впоследствии написали свою «целую работу», воздали должное главному редактору. Кто книгу воспоминаний написал, кто — журнальную статью или ряд статей. У редактора отдела поэзии Софьи Карагановой статья так и названа: «В “Новом мире” Твардовского». «К работе профессиональных поэтов Твардовский относился с той же взыскательностью, как и к своей собственной, а у него стихи “вылеживались” долго, возможно, годами». Или вот еще: «Меня часто спрашивали, легко ли было работать с Твардовским отделу поэзии. Трудно. Трудно и хорошо. Хорошо оттого, что у него при приятии или неприятии предлагаемого не было никаких побочных, внелитературных соображений. Он руководствовался только своим понима-

---

<sup>34</sup> Первый раз А. Твардовский был снят с поста гл. ред. «Нового мира» в 1954 г., возвращен — в 1958 г. Вторично и окончательно снят в 1970 г.

нием того, что должно печататься в многотиражном журнале, своим вкусом...» [48, 332, 339].

Функционеру журнала вторил из-за рубежа вынужденный эмигрант А. Солженицын, выступая 8 июня 1982 г. в эфире радиостанции Би-би-си по поводу 20-летия выхода в свет повести «Один день Ивана Денисовича»: «он сумел вести журнал с таким вкусом художественным, с таким чувством меры, с таким чувством личной ответственности перед отечественной историей, какая сейчас необходима для нашей литературы в ее новом и критическом моменте, а ее нет» [106, 27].

Из замечательной когорты «новомировских» писателей все же выделим особо автора этих строк. Выделим А.И. Солженицына за вклад в отечественную литературу и настойчивую борьбу за демократизацию общественной жизни Отечества, а в большей мере — за те особые усилия, которые были приложены лично Твардовским для его литературно-общественной легализации и «институционализации» (теперь-то уже, надеемся, стало очевидным, что личность А. Солженицына — реальный социально-политический институт).

«Одиннадцатым номером “Нового мира” за 1962 г., где напечатан “Один день...”, начался новый этап русской литературы, — утверждает уже цитированный нами В. Кардин. — Опубликовав, легализовав Солженицына, Твардовский спас ему жизнь. Иначе, пронюхав о спрятанных рукописях, его, скорее всего, прикончили бы специально для того натасканные мастера. Твардовскому необходимо было сохранить “Новый мир” и ради возможности печатать Солженицына. Таково одно из главных побуждений к борьбе,

что он вел, сознавая себя собирателем русской литературы. «Новый мир» не знал среди современных изданий ни конкурентов, ни союзников, лишь — враги» [49, 15].

Не все из сказанного уважаемым «новомировцем» бесспорно. Скорее всего, из антисоветской мифологии эти «специально натасканные мастера», да и тотальное одиночество журнала представляется все же скорее гиперболой, чем реальным фактом, но в целом роль Твардовского в литературно-общественном становлении автора «Одного дня...» Кардиным передана верно.

Примерно такой же точки зрения придерживается и литературовед русского зарубежья Мария Шнеерсон, утверждая: «Подвиг Твардовского, пробившего дорогу Солженицыну и тем изменившего литературный климат шестидесятих годов, был подготовлен всей его предшествующей жизнью. Он шел к этому подвигу непростыми, непрямыми путями» [127, 121].

Вот эти самые «непростые и не прямые пути», в конце концов, и развели Твардовского с Солженицыным.

Говоря образно, «Новый мир» Твардовского всегда и во всем оставался приверженцем революционного Октября, что и развело его с монархистом и ярким идейным антисоветчиком Александром Солженицыным. При том, что Солженицын обрел в начале 60-х всесоюзную и вскоре международную известность именно благодаря публикациям в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» и подборки рассказов «Случай на станции Кречетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».

«Вы ничего не хотите простить Советской власти, — с горечью упрекал А. Твардовский своего товарища. — Вы — слишком памятьливы! Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству <...> Своими резкими выступлениями вы ставите под удар “Новый мир”» [105, 162—164].

«Вот это называется — литературная близость! Вот и дружи с “Новым миром”!» [105, 144], — в сердцах заключил А. Солженицын, словно в странной амнезии «позабыв», что в русской общественно-политической традиции, последователем которой всегда оставался редактор «Нового мира», верность идейным принципам, нравственным императивам ценилась выше корпоративных (в данном случае — литературных) интересов, что идеальное всегда помещалось над материальным в русском православном миропонимании. Недаром ведь в молитве ко Господу нашему Иисусу Христу сказано: «Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящещи бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет причастника славы Твоя вечная» [97, 22].

Увы, на этом досадном недопонимании, на странно разыгравших через годы солженицынских амбициях случилось очередное в нашей литературе размежевание... Словно и не было относительно недавнего трогательного признания выдающихся заслуг «Нового мира» в статье Солженицына «Слово к журналу» по поводу появления нового журнала «Континент»: «С тех пор как в СССР были в зародыше удушены попытки выпускать самиздатовские журналы, никак не подчиненные и не согласованные с официальной идеологией, и был разгромлен

**единственный честный и глубокий журнал “Новый мир”** (выделено мной. — *Авт.*) — русская интеллигенция в первый раз пытается объединить свои мысли и произведения, пренебрегая и волею официальных лиц, и своею разъединенностью государственнымными границами» [106, 117].

Разошелся «Новый мир» не только с нобелевским лауреатом А.И. Солженицыным. Общественно-политическая позиция журнала в реальности сделала его во многом «своим среди чужих, чужим среди своих». Зачастую критические стрелы летели в редакцию, редколлегию с обеих сторон: со стороны Старой площади и дома на Герцена<sup>35</sup> и из неформальных «кухонных» объединений так называемых диссидентов и подписантов.

При этом руководители Союза советских писателей зачастую не знали (либо трусливо не желали знать) истинного положения дел в стране с цензурой и, в частности, с цензурной практикой в отношении своего своенравного печатного органа.

Из воспоминаний А.И. Кондратовича: «Смысл моего выступления (на Секретариате Союза советских писателей. — *Авт.*) сводился к тому, что функции Главлита (орган, осуществлявший цензуру в печати. — *Авт.*) переданы отделам ЦК. При этом не только отделу культуры, но и пропаганды. Из-за

---

<sup>35</sup> На Старой площади Москвы располагался комплекс зданий ЦК КПСС. Ныне здесь размещена Администрация Президента РФ. В доме на ул. Герцена (сейчас опять Поварская) помещалось Правление Союза писателей СССР, организация, которая на протяжении всей своей советской истории демонстрировала доходящую до угодничества лояльность власти. В Маяковскому принадлежит (либо приписывается ему) злая, но справедливая эпиграмма: «Хер цена вашему дому на Герцена...»

этого происходит невыносимая затяжка. Сказал о ненормальности положения, когда образуется запруда из неопубликованных произведений. Для руководителей ССП все это было явно внове» [57, 245].

Не стал «Новый мир» «своим» и для литераторов так называемого андеграунда, идейно, тематически, стилистически и т.д. противопоставивших себя официальной советской литературе. Не печатали их советские подцензурные издательства и журналы, не признавал «правый» охранительный Союз писателей, к сожалению, не признал, отказался публиковать и «левый» свободолобивый «Новый мир». И. Кавелин видит причину этого в том, что «“Новый мир” Твардовского, являясь выразителем просвещенного советского либерализма, в равной степени противостоял как охранительно-консервативному мировоззрению, так и новаторским течениям в современной литературе, пытаясь выстроить мировоззренческую линию без учета не только мировой, но и русской литературы 20–30-х гг.» [43, 245].

Характерно в этом отношении признание, сделанное А. Твардовским А. Кондратовичу после трехчасовой беседы по душам с тогда еще молодым литератором Л. Петрушевской: «Она человек талантливый, но печатать ее не только рано, но вредно. Человек она с психологией отчаянной — ни во что не верит и убеждена, что ничего хорошего быть не может. Это и видно в рассказах, где полная бездуховность, люди живут как трава, совокупаются — без радости, а так, надо, — а зачем надо — тоже не знают Я знаю — надо жить, в жизни должна быть какая-то вера. Она же убеждена, что жизни нет, есть существование. Так почему же мы должны поддерживать



такое направление, такой дух мысли, а я знаю, что так думает не она одна» [55, 211].

Казалось бы, то обстоятельство, что «так думает не она одна» — (напомним, человек, по собственному мнению А. Твардовского, талантливый), должно было подвигнуть редактора журнала задуматься о том, чтобы предоставить возможность талантливым литературным (и пусть даже идейным!) инверсам публично высказаться перед своим народом-читателем. Ведь только в такой толерантности единственно возможно существовать истинной свободой творчества. Но — «печатать ее — вредно»... Парадокс: мужественно борясь с теми чинушами, кто мешал ему печатать по своему усмотрению на страницах «Нового мира» произведения талантливых авторов, А. Твардовский сам, случалось, выступал в роли подобного «непущателя» в отношении бесспорно талантливых, но чуждых ему в эстетическом и идейном планах литераторов... Впрочем, у сотрудницы журнала С. Карагановой на этот счет имеется свое вполне аргументированное мнение. «То, что принято называть узостью вкуса Твардовского, было *особостью* вкуса Твардовского-поэта и его понимания места литературы в жизни. И касалось это не только поэзии, но и прозы, публицистики. <...> Но, может быть, это “отсутствие широты” и сделало возможным в те годы создание журнала направления, каким стал “Новый мир” Твардовского?» [48, 340].

Вернемся в легендарные 60-е... Редакции, редаклегии «Нового мира» во главе с А. Твардовским власти не прощали ясного реалистического понимания происходящего в стране и отражения этого понимания на страницах журнала. «В течение 1964 —

1970 гг. нападки на “Новый мир”, в котором я работал и где публиковал свои статьи, с каждым месяцем становились все ожесточеннее. Критиковали журнал за нравственный ригоризм, за “прямолинейность”, понимая под этим термином яростное отстаивание своей позиции и столь же яростное несогласие с иной. Случалось, прибегали к явно “внелитературным” аргументам: “Может быть, нет ничего зазорного в том, что журнал восторженно отзывается о повестях и рассказах, напечатанных на его страницах, и полемизирует с их критикой. Но не слишком ли узко смотрит на жизнь нашей литературы В. Лакшин, посвящая очередную статью только произведениям, обнародованным в “Новом мире”»? [32].

Следует отметить, что заявленную «Новым миром» позицию «следовать правде жизни», которая при реализации неизбежно привела к отказу от ложной героизации, к снижению чрезмерного пафоса в опубликованных журналом литературных и публицистических текстах, еще, по сути, в зародыше приметило дремлющее око партийной критики. «На страницах “Нового мира” нередко даже произведения, затрагивающие современные темы, оставляют в стороне коренные, центральные вопросы нашей жизни. Поэтому вы почти не встретите здесь главных героев нашей эпохи, передовых людей труда, деятельных строителей коммунизма. Наоборот, авторы “Нового мира” уделяют, подчас, преимущественное внимание пассивным персонажам, пытающимся сознательно играть “второстепенную” роль в жизни. Подчеркнутая “будничность” событий, показанная через малозначительные детали быта, характерна для подобных произведений...

Вот почему и весьма немногочисленные произведения, посвященные современности, в журнале не могут изменить нашего мнения о том, что на страницах “Нового мира” в художественных образах пока не чувствуется биения пульса коммунистической семилетки, не показана жизнеутверждающая сила нового» [18, 196].

В отличие от многих сограждан, привыкших к публичному сокрытию правды, к «кухонным» откровениям опасливым шепотком, к аллюзиям, подтекстам, недоговоркам, фигурам многозначительного умолчания, они, новомировцы, не скрывали своего конструктивно-критического отношения к сложившейся в СССР общественно-политической ситуации. Люди, чуждые позы и самомнения, они, вместе с тем, отлично понимали свое предназначение, различали указующий глас судьбы: «Если мы не скажем, то никто не скажет».

Характерный эпизод приводит в воспоминаниях о сотрудничестве с «Новым миром» харьковский публицист Л. Фризман. «Статья, которую я принес в редакцию осенью 1967 г., называлась “Ирония истории”. Замысел ее был обязан своим возникновением словам Энгельса: “Люди, хвалившиеся тем, что **сделали** революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что **сделанная** революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл “иронией истории”” [123, 263]. Когда уже шли чистые листы, экземпляр попал в ЦК КПСС, и там “Иронию истории” прочел Большой Начальник. Прочел и — что не всегда случается с начальниками — понял прочитанное. И охватил Большого Начальника Боль-

шой Гнев...» [123, 45]. Дальнейшее известно со слов А. Кондратовича. «Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев. <...> Беляев ходил, конечно, к начальству, получать указания. Вернулся. Я сказал ему, что лучше все-таки оставить. Он молчал. Я ему: “Тогда принимайте решение сами”. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: “Пускайте под нож”» [57, 248 – 249].

Чего опасались партийные чинуши в тексте Л. Фризмана, повествовавшем об «иронии истории» по Гегелю? Аналогии. Аналогии той революции, о которой говорил Энгельс, с нашей, доморощенной, Великой Октябрьской социалистической.

Тогда в главном цензурном органе страны — Главлите — даже появилось определение подобных новомировских материалов: «неконтролируемый подтекст». Мол, как ни редактируй такую статью, как ни сокращай, «причесьвай» — подтекст непременно укажет на родной СССР. И даже если редакция «Нового мира» поставила в номер сугубо историческое исследование о египетских пирамидах, ушлого цензора не проведешь; египетская деспотия — сталинская империя, сами по себе пирамиды — символы культа личности фараонов, а в подтексте — культа личности «отца народов», который, как известно, соорудил в Москве свои «пирамиды» — так называемые сталинские высотки!

В последние месяцы пребывания А.Твардовского на посту главного редактора журнала, когда тучи партократического недовольства сгустились над ним до консистенции грозовых, когда выход в свет, практически, каждого номера сопровождался раскатами «цековского» грома и всполохами молний ад-

министративных наказаний, Александр Трифонович менее всего думал о себе, своей летящей под откос общественной и административной карьере (А. Твардовского вывели из состава ЦК КПСС, не избрали депутатом Верховного Совета РСФСР, каковым он успешно являлся несколько созывов, фактически отстранили от руководства редакцией «Нового мира» — приказ о его увольнении был уже составлен и ждал визы в высоком партийном кабинете), а единственно был озабочен судьбой своего любимого детища.

«Берегите журнал! Берегите журнал... Литература как-нибудь и без вас...» [105, 164].

Генерал П. Григоренко, один из самых яростных советских диссидентов, писал А. Солженицыну по поводу А. Твардовского и «Нового мира». «Написал резкое, злое письмо, принес его в редакцию и, убедившись, что оно вручено ему лично (А. Твардовскому. — *Авт.*), ушел, чтобы уже никогда (какое страшное слово) не встретиться с этим таким разным, но бесспорно **великим** человеком... Прошло время, и я понял, как ужасающе неправ был я. Не из-за себя он испугался. Я навлек угрозу на журнал. Ради жизни журнала он обязан был откреститься от меня. Интересы журнала для него были выше моих, да, вероятно, и Ваших. Мне кажется, что в Ваших воспоминаниях (“Бодался теленок с дубом”. — *Авт.*) это не выявлено, и оттого личность А. Твардовского, я бы сказал, принижена» [31].

Впрочем, время, которое сообщает ретроспективному взгляду исследователя спокойствие, мудрость, способность глядеть поверх покосившегося частокола частных событий, многое уже расставило по своим

местам. Обратимся к уже цитированной нами выше статье из «Граней». «Вопрос не стоит: — Кто виноват, кто прав? Чье общественное поведение было более прогрессивным? Чья тактика оказалась вернее? Зажженный Твардовским факел погасить оказалось невозможным, как невозможно было ослабить великую роль Солженицына в духовном распрямлении общества. Вот почему мы вправе сказать: редактор “Нового мира” и автор “Архипелага ГУЛАГ” — каждый по-своему неутомимо расшатывал дряхлеющие стены» [127, 162].

К призыву сберечь журнал для его сторонников и последователей могли бы присоединиться тысячи читателей из всех городов и весей огромной Державы.

«Хорошо помню, как в конце шестидесятых годов, живя в старом провинциальном городе, услышал от одного своего приятеля — молодого философа из местного педагогического института: “Для меня подписка на “Новый мир” как партийный взнос... Не существующая, но партия...”» [57, 3].

Лучше, точнее, пожалуй, и не скажешь. Воистину «Новый мир» А. Твардовского стал для честных мыслящих граждан Отечества своеобразной партией морального, нравственного отношения к жизни, партией социального прогресса и здравого мышления.

Справедливости ради следует отметить, что и последующие главные редакторы журнала (Наровчатов, Косолапов, Залыгин), хотя, скорее всего, и не обладали харизмой и популярностью Твардовского, делали все что могли, чтобы как можно дольше удерживать журнал на том высоком уров-

не, который он достиг в 60-е. «Наровчатов сам был явлением культуры, одним из уходящих в небытие раритетов, если позволительно так говорить о человеке. Он был **изнутри** литературного процесса, литература стала его страной... Немалое мужество и твердость нужны были, чтобы недрогнувшей рукой поставить в номер “Другую жизнь” и “Опрокинутый дом” Ю. Трифонова, или “Блокадную книгу”, “Дом” Ф. Абрамова, или “Вдовый пароход” И. Грековой, “Поиски жанра” В. Аксенова, или “Расплату” В. Тендрякова, “И дольше века длится день...” Ч. Айтматова, “Повесть о Сонечке” М. Цветаевой...» [121, 204 – 205].

Каждый из главных редакторов «Нового мира», вынужденно уступая под давлением сверху какие-то позиции, делал все возможное, чтобы сохранить дух журнала, чтобы наверстать потерянное в иных жанрах. Так, разгром новомировской прозы повлек за собой подъем (увы, временный!) журнальной публицистики когда же добрались и до нее, оказался подготовленным очередной «запасный аэродром» — социологизированный исследовательский очерк.

«Новый мир» стоял до конца. И даже... чуточку дольше...

\* \* \*

И во вдохновивший страну начальный, романтический период перестройки журнал внес свою лепту в процесс демократизации общественных отношений, в борьбу с советской косностью и партokratической ортодоксией. Правда, делал он это уже не столь ярко и вдохновенно, как в вершинные для «Нового

мира» 60-е. Можно даже сказать, что в перестройку журнал не занял четко однозначную позицию в политической борьбе, а предпочел несколько отстраненный нейтралитет, представляя журнальную трибуну представителям самых различных идейных течений и направлений.

Проанализировав на материалах журнала «Новый мир» направления в русской общественной мысли перестроечной поры (1987—1990), историк и политолог Л.М. Кузеванова [58, 38—49] выделяет несколько весьма условных линий (направлений):

- а) ортодоксально-охранительную;
- б) ортодоксально-творческую;
- в) ортодоксально-государственническую;
- г) оппозиционную;
- д) позитивную.

Позитивная линия, наряду с критикой существовавшей тогда общественной системы, пыталась выработать альтернативную марксизму-ленинизму систему ценностей, **ориентированную на Человека, его духовный мир, его высокое предназначение, прояснить содержание, смысл и значение общечеловеческих и национальных ценностей в контексте отечественной и мировой истории.**

*Составными частями этой системы стали:*

— признание важности в становлении человеческой личности религии как части мировой культуры, способной поднимать человека до высот нравственности, милосердия, любви к ближнему, призывающей к терпимости к чужому мнению, самопожертвованию;

— реабилитация традиционных культур, сосредоточивших в себе тысячелетний опыт человеческого



общения, взаимоотношения человека с природой, обществом, опыт семейных отношений;

— признание невозможности программирования человеческой жизни во имя порядка и нравственности;

— идея демократии — широкой, последовательной;

— идея правового государства, гарантирующего необратимость демократических перемен и завоеваний, их дальнейшее развитие;

— свобода мысли как возможность высказывать не только прогрессивные, но и консервативные мнения, как важный инструмент перехода к открытому обществу;

— консенсусная система принятия решений как реальная возможность учета мнений и интересов меньшинства, обеспечения национального единства;

— признание несостоятельности идеи насилия как идеи прогресса: революция возможна лишь как революция духа;

— идея связи времен, преемственности поколений;

— необходимость реализма и учета национальной специфики при заимствовании иностранного опыта;

— идея морального абсолюта и благоговения, отрицающая вседозволенность и безответственность.

Побудительным мотивом к этой мыслительной работе стал вопрос, четко сформулированный И. Клямкиным: «Почему та политика, которая провозгласила себя служанкой правды, обернулась таким цинизмом, таким разрывом с элементарными представлениями о добре и зле, каких цивилизованный мир до сих пор не видывал?» [53, 205].

### 3.2. Материалы социологической тематики

Опубликованные «Новым миром» в 60—70-х гг. материалы, имеющие отношение к социологии, на наш взгляд, можно классифицировать по трем группам:

- статьи, эссе, рецензии, аннотации книжных и журнальных публикаций, интервью, беседы, отчеты с проведенных редакцией круглых столов и т.п.;
- физиологический (социологический) очерк на новом этапе своего развития;
- «социологизированная проза», содержащая элементы и приемы социологического исследования.

Практически в каждом номере журнала интересующего нас периода публиковался подобного рода материал. Чаще всего в разделах: «Книжное обозрение», «Материалы и сообщения», «В мире науки», «Политика и наука», «Публицистика», «Литературная критика», «Книжные новинки», «Коротко о книгах».

«Одним из интересных отделов “Нового мира” является “Книжное обозрение”. Оно состоит из обстоятельных рецензий на книги по литературе, искусству, политике и науке. Сюда же входит серия небольших аннотаций (“Коротко о книгах”) и перечень книжных новинок за предшествующий месяц. Для того чтобы представить себе значение и размах этой работы, достаточно сказать, что в 1958 г. в журнале было опубликовано 63 рецензии на произведения художественной литературы и критики и 58 рецензий на политические и научные книги. Кроме того, в каждом номере печатаются 15—18 аннотаций

на новинки. Ни один журнал не может потягаться здесь с “Новым миром”!» [18, 189]. В подтверждение сказанного маститым литературным критиком приведем сделанную в хронологической последовательности выборку наиболее заметных социологических публикаций журнала в жанрах рецензии и аннотации.

♦ **С. Эпштейн** в объемной статье «Социология в народной Польше» (1962, №12) подробно и обстоятельно анализирует недавно вышедшую в свет и тотчас переведенную на русский язык книгу руководителя сектора социологии при ЦК ПОРП проф. З. Баумана «Социология на каждый день» (Варшава, 1962). Как видим, нынешний ведущий английский (!) социолог, один из самых убедительных критиков социализма, в начале 60-х был крупным функционером Польской рабочей партии.

«Почему вы выбрали профессию социолога?» Этот вопрос можно определить в качестве ключевого для всей рецензируемой работы. Он напрямую связан с настоящим бумом социологии в народной Польше. Недаром на Международном конгрессе в Вашингтоне (1962, сентябрь) декан социологического факультета Колумбийского университета, общепризнанный «гуру» мировой социологии Р. Мёртон публично заявил, что поражен расцветом польской социологии после войны.

Стремительное развитие социологии в Польше породило острую проблему кадров для этой ставшей необычно модной научной профессии. Потому и появилась такая книга, адресованная, прежде всего, молодежи. Ее цель — научить молодых людей мыслить социологически, т.е. объяснять сознание и

поведение людей с позиций исторического материализма.

Из статьи мы узнаем, что Центром по изучению общественного мнения Польского радио успешно подняты такие темы социологических исследований, как «Отдых и туризм», «Свободное время городских жителей», «Отношение молодых рабочих к работе и учебе» и др., темы, получившие вскоре в проведенных в нашей стране аналогичных социологических исследованиях «русскую транскрипцию». Да и сам Центр при Польском радио, разве не напоминает он информированному отечественному читателю аналогичный Центр при «Комсомольской правде», созданный Б. Грушиным?.. Легкий плагиат, взаимное социалистическое сотрудничество, опередившие время ростки глобализации... Каждый из читателей выберет, что ему ближе...

«На социолога, — цитирует рецензент опубликованный в книге фрагмент статьи из варшавской “Политики”, — взирают с надеждой общественный деятель, педагог и руководитель предприятия, плановик и исполнитель плана». Но, что важнее всего, без нее, оказывается, не мыслят процесса управления обществом прогрессивные коммунистические функционеры. «Действовать сегодня без социологии — это значит действовать вслепую», — приводит автор книги слова партийного работника З. Долинского из г. Вроцлава.

Вполне в духе времени статья С. Эпштейна завершается «забойным» утверждением: «Центральные Комитеты коммунистических партий (имеются в виду страны Варшавского договора. — *Авт.*) уделяют большое внимание конкретным социологическим

исследованиям. Они видят в них проявления тесной связи общественных наук с потребностями строительства социализма и коммунизма».

Не станем упрекать отечественного ученого в наивности. Ему очень *хочется*, чтобы так все и было, чтобы ЦК (прежде всего свой, «родной» ЦК КПСС!) действительно и «видел» значимость социологии, и «уделял» ей должные внимание и заботу. Отсюда подсказка в виде утверждения, высказанная, как водится, верноподданническим образом. Заговор (ни в коем случае не путать с заговóром!) от державной немилости для себя и любимой науки...

◆ **Е. Гнедин** в статье «Модель и действительность» (1964, №1) исследует в социологическом ключе актуальные аспекты современного буржуазного общества;

◆ академик **С.Г. Струмилин** в обзорной статье «Мир капитализма и мир социализма в цифрах (обзор за 1962 г. и начало 1963 г.)» (1964, №3) подробно и обстоятельно анализирует обширную социальную и производственную статистику, подводя читателя к выводу о больших перспективах социалистической модели организации общества и централизованной экономики, функционирующей на основе обобществленных средств производства;

◆ **Ю. Буртин** — «О социологических исследованиях» (1964, №7) — подвергает анализу чрезвычайно важные для советской социологии того периода вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований;

◆ критическим пафосом проникнута рецензия **В. Кучеровой** и **И. Кона** «Безответственный подход к ответственной теме» (1964, №12) на книгу

К. Буслова «Проблема социального прогресса в трудах В.И. Ленина 1917 — 1923 гг.» «Неряшливые, безграмотные формулировки встречаются буквально на каждой странице. Серьезные трудные проблемы **К. Буслов** подменяет бессодержательными, общими фразами, которыми оперирует с легкостью необычайной» (с. 251). «Не ясно ли, что книга о Ленине не должна ограничиваться простым сводом цитат, даже если они подобраны безукоризненно. Так стоит ли хвалить книгу только за ее тему? Не честнее ли сказать автору по-товарищески прямо, что его труд не удался?» (с. 252);

♦ совсем иной тон у рецензии **И. Миндлина** «Старое и новое» (1964, № 12) на книгу **А.Г. Харчева** «Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования»: «<...> трудно переоценить значение капитальной книги А.Г. Харчева, являющейся по сути первым опытом обстоятельного социологического исследования этих вопросов (с. 260). «Остановимся в заключение на проблеме будущего семьи, поставленной А.Г. Харчевым в последней главе. Он справедливо подвергает критике утверждения тех, кто считает, что семья при коммунизме не сохранится в качестве социального института (с. 262);

♦ **С. Эпштейн**, рецензируя в статье «Ученые приказчики капитала» (1965, № 6) книгу **Г.В. Осипова** «Современная буржуазная социология. Критический очерк», пишет: «Г. Осипов поставил перед собой нелегкую задачу — представить в систематическом виде все направления современной буржуазной социологии. <...> Автор не ограничился разбором буржуазных теорий, он приводит фактический, в частности, цифровой материал. Причем эти данные он

берет главным образом из работ самих буржуазных ученых, которых подчас сама логика исследований толкает к правильным выводам. <...> Тот, кто прочтет книгу, а прочтут ее многие: научные работники, студенты, деятели идеологического фронта, — получат представление о западной социологии и найдут много интересных мыслей. <...> Книга Г.В. Осипова — важная ступенька в развитии возрождающейся науки»;

♦ в статье «Бюрократия XX века. Социологические заметки о современном буржуазном обществе» (1966, №3) **Е. Гнедин** социологическим инструментарием исследует общественную проблему, значение которой, увы, никогда не ограничивалось «обществом капитала», а и для тогдашнего социалистического общества в рамках СССР, и для нынешней постсоветской России оставалось и остается чрезвычайно актуальным. Именно усилиями бюрократии «разгоняются» коррупция и другие антисоциальные явления, существенно мешающие повседневной жизни советских (российских) граждан;

♦ **В. Ольшанский** в статье «Важная проблема» (1966, №4) рецензирует две коллективные, аналогичной тематики, монографии отечественных социологов «Личность и труд» и «Труд и развитие личности». Рецензия содержит важный момент для характерного в тот период «перманентно расширительного» толкования социологической науки. «Рецензируемые работы вызывают интерес, прежде всего потому, что они построены именно на основе конкретного анализа. Впервые социологической лабораторией стало у нас предприятие...» [82, 252]. «Рецензируемые книги, — считает В. Ольшанский, — результат первых попы-

ток социальных ученых заглянуть в жизнь производственных коллективов, разобраться в поступках, из которых складывается эта жизнь, глубже проникнуть в тайну личности — и оттуда (от психологии, экономики, физиологии труда и социологии) подойти к ответу на вопросы, которые волнуют тех, кто занимается организацией труда в промышленности, ведет воспитательную работу, готовит кадры для предприятий или же просто работает на заводе и небезразличен к формированию своей личности» [82, 255].

Фраза эта содержит сразу два важных момента:

— предполагается как нечто само собой разумеющееся «бригадный» подход при проведении социологического исследования с привлечением помимо социолога еще и психолога, экономиста, специалиста в вопросах физиологии труда и т.д.;

— поддерживается «модная» по тем временам идея самообразования посредством самопознания и самовоспитания представителей производственного сектора среднего и низшего уровня («просто работает на заводе»);

◆ рецензия **А. Потемкина** на книгу **Ю.А. Замошкина** «Кризис буржуазного индивидуализма и личность. Социологический анализ некоторых тенденций в общественной психологии США» (1966, № 9) акцентирует внимание читателей на том, что рецензируемая работа «убедительно развенчивает миф о непричастности капитализма к социальным болезням личности» (с. 277). Рецензент приводит «поразительные», по его выражению, цифры социального неблагополучия личности в США. Не будем голословны: «Только за один год в США по обвинению в тяжелых преступлениях арестовано более двух миллионов ше-



стисот тысяч человек. Восемьсот тысяч американцев в психиатрических больницах. В стране шесть миллионов алкоголиков. Только в штате Нью-Йорк зарегистрировано двадцать тысяч наркоманов. Каждый год двадцать пять тысяч американцев кончают жизнь самоубийством и т.д. и т.п.» Теперь, когда открылась соответствующая отечественная статистика, эти цифры «поразительно» близки показателям России;

◆ статья **И. Кона** «Психология предрассудка. О социально-психологических корнях этнических предубеждений» (1966, №9) стала одной из первых работ в стране, которая на столь высоком научном уровне подняла и актуализировала проблемы этнопсихологии и этносоциологии. Правда, на материале все того же несчетный раз охаянного «мира капитала». «В качестве главного объекта мы возьмем Соединенные Штаты Америки. Во-первых, это ведущая капиталистическая страна. Во-вторых, в ней расовая и национальная проблемы стоят особенно остро. В-третьих, прогрессивные ученые США уже давно и основательно исследовали эти проблемы, и (хотя, как мы увидим дальше, многие концепции буржуазных социологов, психологов и этнографов односторонни и ложны) накопленный ими материал, если рассматривать его с марксистских позиций, имеет большую научную ценность» (с. 187).

Все это, возможно, и так, но вряд ли меньшую научную ценность составили бы исследования темы на нашем отечественном материале, если бы власть предрезающие разрешили их провести;

◆ **А. Каждан** в статье «Психология общества» (1967, №1) рецензирует книгу **Б.Ф. Поршнева** «Социология психологии и истории»;

◆ **И. Кон** — «Человек и его работа» (1967, № 9) — анализирует одноименный труд коллектива социологов;

◆ социологический анализ буржуазного общества продолжает **Е. Гнедин** в аналитической статье «Масштабы и характеры» (1968, № 10);

◆ анализу книги **Б. Грушина** «Свободное время. Актуальные проблемы» посвящен материал **Э. Беллева** «Свободное время: его объем и использование» (1968, №5);

◆ **Е. Гнедин** в статье на главную свою научную тему — социологическое исследование современного буржуазного общества — на сей раз фокусирует внимание на аспекте, которым названа журнальная статья: «Научно-техническая революция в капиталистических странах. Проблемы современного капитализма и буржуазной социологии» (1969, №9);

◆ **В. Канторович** — «Социология и промышленные кадры» (1969, № 7) — рецензирует коллективный труд **Л.С. Бляхмана, Б.Г. Сочилина, О.И. Шкаратана** «Подбор и расстановка кадров на предприятии»;

◆ **Г. Целмс** — «Динамика общественной структуры» (1969, №12) — подвергает критическому анализу сразу два коллективных социологических исследования: «Проблемы изменения социальной структуры советского общества» и «Классы, социальные слои и группы в СССР»;

◆ **В. Шляпентох**, сам непосредственно занимавшийся социологией общественного мнения, в рецензии «Теория общественного мнения» (1969, № 1) представил читателям «Нового мира» работу **Б.А. Грушина** «Мнение о мире и мир мнений. Про-

блемы методологии исследования общественного мнения» и т.д. и т.п.

Особо остановимся на фундаментальных **социологических статьях**, опубликованных в «Новом мире» за тот же период. Они не только весомо прозвучали в свое время, вызвав широкий общественный резонанс, но и оказали заметное влияние на последующее развитие исследуемых в них явлений, таких, в частности, как «социальное мифотворчество», «взаимоотношение социологии и литературы», «психология предрассудка», «социальные роли» и др.

1. **Пути мифотворчества и пути искусства** рассматривает в одноименной статье (1969, №5) **Арсений Гулыга**.

Как и должно обстоятельному исследователю, автор статьи анализирует посвященные проблемам мифа и мифотворчества предшествующие актуальные работы, в частности — В. Днепрова, Ф. Кафки и Д. Затонского<sup>36</sup> и находит в трех работах четыре (!) точки зрения на предмет своего научного интереса.

«Что же такое, в конце концов, миф, — с деланным недоумением вопрошает А. Гулыга, демонстрируя присущую мастеровитым литераторам способность создать интригу. — Может быть, это не термин науки, а просто слово, обладающее огромным множеством значений, из которых каждый волен выбирать то, что больше ему по вкусу?» [35, 218].

---

<sup>36</sup> Позже тема мифотворчества получит глубокую разработку в исследованиях Г.В. Осипова «Социология и социальное мифотворчество» (2003) и «Социальное мифотворчество и социальная практика» (2004).

Для того чтобы ответить на этот, в общем-то, риторический вопрос, А. Гулыга предпринимает несколько экскурсов, как в далекое прошлое, так и в некоторые сферы современной действительности.

Исследования главы «Первобытный миф и мифология XX века» позволяют ему сделать вывод, что миф является формой культового сознания, которое, в отличие от сознания религиозного, носит естественный характер. «В мифе человек поклоняется силам, с которыми он отождествляет себя, и это чувство сопричастности мировому целому вселяет уверенность в успехе любого предпринимаемого дела» [35, 219].

А. Гулыга привлекает научные наработки Ортега-и-Гассета, автора термина «восстание масс», ставшего теперь хрестоматийным при определении процесса усиления человеческой активности в XX в. При этом вынужденно лавирует между жестко реалистическим подходом к социальной реальности, который демонстрируют современные ему западные социальные ученые, и все еще доминирующей в советской науке и во многом самой по себе мифологической марксистской ортодоксией. «Известно, что народ — творец истории, — почтительно склоняет голову перед марксизмом А. Гулыга. И тотчас, по сути, опровергает этот тезис: — Однако, к сожалению, он иногда не ведает, что творит. Народные массы могут оказаться во власти мифа, ведущего их по ошибочному пути». — Далее, в подкрепление сказанному, следует цитата из Барга: — «Миф и масса принадлежат друг другу». Только в том случае, добавим мы от себя, — вновь берет слово А. Гулыга, — если во главе масс не стоит авангард — носитель револю-

ционной теории. (Снова высказано ритуальное почтение к “авангарду”, сиречь КПСС. — *Авт.*). Но когда этого нет, миф действительно может грозить человечеству бедами, последствия которых трудно исчислить» [35, 221]. Ну прямо слалом между красными (марксистскими) и белыми (общечеловеческих ценностей) флажками!

Мы не случайно столь детально остановились всего лишь на одном абзаце работы. Он показателен для понимания реальных сложностей, стоявших перед конкретным советским социологом, в частности, и — в целом — всей советской социологией той поры. Для того чтобы получить возможность высказать хоть в малой мере объективное мнение об общественных процессах, проистекавших в СССР и мировом сообществе, необходимо было постоянно критиковать «мир капитала», ритуально восхваляя при этом «социализм — светлое будущее человечества». Даже в анализирующей социальный миф статье советскому социологу то и дело приходилось поддерживать советскую идеологизованную мифологию!

Солидная преамбула, ссылки на ведущих западных социологов и политологов (Ортега-и-Гассет, Барт), отсылка к Ж. Сорелю — автору идеи всеобщей стачки как мифа, способного повести массы на свержение капитализма, нужны А. Гулыге для выхода на главную позицию статьи — раздел второй: **«Тоталитарный миф»**. «Посмотрим же на некоторые из наиболее характерных, массовых современных мифов в буржуазном обществе, и пусть это нам поможет трезвее и строже взглянуть на действительное отношение современного мифотворчества к творчеству художественному...» [35, 221].

Ясно, что здесь «буржуазное общество» — элемент маскировки истинных намерений исследовать в первую очередь нашу отечественную реальность. Сделать это было можно, как мы уже отмечали выше, только умело используя весь арсенал иносказаний: подтекст, аллюзию, предваряя собственно исследование формальной критикой зарубежного феномена, осторожно, но доступно усредненному пониманию выстраивая аналогии по принципу «чужое — наше», при которых, казалось бы, специфическое «чужое» как бы само по себе начинало восприниматься в качестве «универсального», следовательно, и «нашего».

(Заметим в скобках, что исследование феномена «эзопова языка» отечественной гуманитарной науки и литературной публицистики в периоды так называемых «оттепели» и «застоя», когда уже стало возможным поднимать ряд запретных в период «культы личности» тем, но, по причине противодействия пропагандистского партийного аппарата еще не получалось говорить о них правдиво и всеобъемлюще, на наш взгляд, является чрезвычайно интересной и общественно полезной научной задачей, которая, однако, находится за пределами данного исследования.)

«Как в далеком прошлом, так и в настоящее время миф приспособливает индивида к общественному целому, — заключает А. Гулыга. — Миф снимает вопрос о личной ответственности, о подлинном выборе, вырабатывая определенные стандартные образцы поведения, которым нужно лишь бездумно следовать» [35, 221]. Далее автор статьи приводит соответствующую цитату из А. Гитлера, увязывая,

таким образом, тоталитарный миф исключительно с фашизмом.

«Фашизм был той социальной силой, которая попыталась — пожалуй, первой в наш век — в огромном масштабе реализовать идею социального мифа. “Миф XX столетия” — это не только термин, но и название книги. Ее автор — один из главных “теоретиков” нацизма Альфред Розенберг — был повешен в 1946 г. в Нюрнберге по приговору Международного трибунала» [36, 222]. Окончательно закрепив ярлык «тоталитарный миф» за германским фашизмом, Гулыга получает возможность достаточно свободно оперировать в этом якобы детерминированном конкретным временем и пространством (30—40-е гг. XX в., Германия) исследовательском поле, уже не особенно заботясь об идейном «подкреплении» своего текста. Нам, читателям (прежде всего, читателям — современникам автора статьи), предстоит при этом так прочесть между строк его исследование, чтобы выстроить искомую цепочку аналогий: «чужое — универсальное — свое». Проще говоря, Гулыга пишет о тоталитаризме как о родимом пятне гитлеризма, нам же следует иметь в виду в таком же аспекте еще и сталинизм.

В массовом сознании критически настроенной интеллигенции поры «оттепели» такая, с позволения сказать, «метода» была принята в качестве постоянного элемента «расшифровки» мало-мальски амбивалентных текстов. Намеки на «сталинский тоталитаризм» отыскивались, казалось бы, в самых периферийных, далеких от прямой аналогии закутах публиковавшихся материалов не только о сталинском периоде Советского Союза, но и о послеста-

линской реальности. Отыскивались они даже там, где, подобно конфуцианской черной кошке в темной комнате, их не было и в помине<sup>37</sup>.

Сразу оговоримся, что подобная практика представляется нам, как минимум, некорректной ни с исторической, ни с социально-психологической точек зрения. Бесспорно, была необходима борьба с последствиями «культы личности Сталина», следовало всячески преодолевать в массовом и индивидуальном сознании, в административной практике чиновничьего аппарата государственный советский тоталитаризм. Но эти благие задачи, на которые, напомним, нацеливали массы постановления XX и XXI съездов КПСС, нельзя было решать, исходя из прямой ана-

---

<sup>37</sup> Попытку кинорежиссера М. Ромма выстроить на материале своего документального кинофильма «Обыкновенный фашизм» аналогию «фашизм — сталинизм», попытку, заметим, более чем удавшуюся, если учесть полученную за кинофильм Ленинскую премию, возможно, единственный раз публично осудил устами своего героя писатель И. Шевцов, скандально известный своей крайне консервативной позицией в отношении искусства и стойкой принципиальной апологетикой сталинизму. Знаменательно, что с критической статьей в отношении первого художественного произведения И. Шевцова романа-памфлета «Тля» выступил на страницах «Нового мира» («Памфлет или пасквиль». 1964, № 12) не кто иной, как А. Синявский. «Преувеличения, к которым прибегает Шевцов, имеют мало общего с гиперболизмом сатиры (с. 230). Важнее задуматься, только ли Шевцов проповедует невежество под видом реализма и смешивает с грязью художественную интеллигенцию?» (с. 232 и т.п.). Автор этих строк, «тот самый» А. Синявский, как известно, позже создаст ряд антисоветских памфлетов и под псевдонимом Абрам Терц издаст их за границей. Осужденный вместе с Ю. Даниэлем за антисоветскую деятельность на заключение в колонии и ссылку, А. Синявский, освободившись, выедет в эмиграцию и вместе с супругой М. Розановой станет редактировать в Париже журнал «Синтаксис».



логии сталинизма с немецким фашизмом, а точнее — с гитлеризмом 30—40-х гг. XX в. Следовало отдавать себе отчет в том, что если такая аналогия станет доминировать в общественном сознании, то она рано или поздно обрушит и без того внутренне противоречивую архитектонику советского государства-общества, практически вычеркнет из истории десятилетия созидательного труда нескольких поколений советских людей, а всю страну — из мирового гуманитарного контекста. Что и произошло в горбачевскую перестройку, когда в идейно-политической дискуссии, охватившей советское общество, бездумно были сняты все тормоза и ограничители.

До сих пор остается соблазн обвинить в такой разрушительной деятельности исключительно диссидентскую космополитическую интеллигенцию. Однако следует признать, что во многом провоцировали противников режима на поиски подобных аналогий сами власть предержащие, запрещая долгое время открытую критику сталинизма, пресекая всякую общественную дискуссию, в ходе которой возможно было бы прийти хоть к какому-то, но согласию, благо советское общество еще не было так трагически расколото и фрагментировано, как в преддверии перестройки. Общегражданской дискуссии не случилось, а поскольку, как верно подмечено еще древними, *nitimur in vetitum*<sup>38</sup>, то никакой запрет для нигилистски настроенных в отношении государства граждан реальной помехой не стал. Противление ему в который раз вылилось в уродливую форму «подтекстовой аналогии», чем исказило представления о

---

<sup>38</sup> Мы склонны к запретному (*лат.*).

предмете (сталинском тоталитаризме) у нескольких поколений соотечественников, в целом плохо и тенденциозно информированной о советской истории мировой общественности...

В своем исследовании феномена тоталитарного мифа А. Гулыга следует дальше коллег. Большинство из них осуществляли научный поиск на пространстве проявления массовой тоталитарной психологии. Частные, индивидуальные аспекты проблемы интересовали их существенно меньше. Для А. Гулыги именно в частном сосредоточен едва ли не самый интересный и плодотворный сегмент исследования. «Отвлечемся на некоторое время от миллионных масс, слепо следующих за своим фюрером, и обратимся к малой социальной группе, находящейся как бы на противоположном полюсе общественной жизни» [35, 222]. Отвлеклись по совету автора и узнали немало интересного.

Ссылаясь на приведенные в статье данные современных ему зарубежных социологов Ф. Мерей (Венгрия), П. Хофштеггера (Германия), А. Гулыга делает важные для понимания особенностей личностной социальной психологии выводы. Так, ребенок с явно выраженными командирскими задатками, не получив в коллективе поддержки своим руководящим поползновениям, как правило, не тушуетя, не отказывается от принятого стиля поведения, а начинает командовать уже в пределах не столько желаемого им, как реально возможного. «Командирский тон оставался прежним, но указания содержали только то, что дети привыкли делать и без него. Он становился лидером, бессознательно приноравливаясь к заданной ситуации» [35, 222].

Аналогична ситуация в преступных сообществах, где главарем становится тот, чьи качества в наибольшей мере соответствуют сложившимся устоям. Лидера, таким образом, не просто надо заметить и выделить из общей массы, в нем следует увидеть себя.

«Чтобы стать экраном для проекции, человек должен обращать на себя внимание, быть на голову выше или ниже, умнее или глупее, держаться и говорить иначе, чем другие. Направление отклонения совершенно не играет роли» [138, 144].

Дуализм идеи лидерства предполагает наличие у претендента в лидеры также и противоположных изложенным выше качествам. В стремлении выделиться из толпы претендент на исключительную роль в коллективе не должен отдаляться на непреодолимое расстояние от массы. Если человеку толпы не дано достичь сущностных качеств лидера, он должен иметь возможность хотя бы сымитировать кумира: перенять внешние признаки поведения, привычки, характерные черты внешности (усики, борода, прическа или отсутствие оной), манеру одеваться, жестикулировать и т.п. Только тогда произойдет необходимое отождествление «малого» человека с вождем, только тогда они окажутся в устраивающем каждого «дуэте», в единении-отстранении.

Определив основные параметры тоталитарного мифа, прояснив типологию индивидуального сознания в отношении идеи лидерства, как со стороны главенствования, так и со стороны подчинения, А. Гулыга берется за анализ современных ему типов социальной мифологии, весьма условно, по принципу наибольшей распространенности обще-

принятого термина, объединяя их в главу «**Культ потребления**».

Возникновение этого культа А. Гулыга верно выводит из трансформации предшествующей мифологии. Распад тоталитарных форм мифологического сознания, по его мнению, не означает исчезновения этого сознания. «На смену тоталитарному мифу в условиях антагонистического общества могут прийти и — как показывает послевоенная реальность — действительно приходят новые, “глобальные формы” массовой идеологии, лишь внешне противоположные мифу. **Они носят столь же иллюзорный и социально опасный характер** (выделено мной. — *Авт.*)» [35, 224].

Это очень важный момент для понимания всей статьи и позиции автора: всякий миф «иллюзорен и социально опасен», не может быть по определению «хорошего», благого мифа; мифологическое сознание само по себе разрушительно для психики человека, оно деморализует его, уводит в сторону от магистрали упорного труда на благо гуманного общественного развития. Казалось бы, замена на соответствующие прозаические таких «котурновых» компонент тоталитарного мифа как «новый порядок» (на «стабильность отношений»), «аскетизм и самопожертвование» (на «культ самосохранения, здоровья и благополучия»), «принцип фюрерства» (на «священные традиции»), «тотальность» (на «индивидуализм») — это общественное благо. Смягчаются нравы, безжалостная мессианская брутальность уступает место индивидуальной самоуглубленности, человек сделал выбор в сторону индивидуализации жизни и более не потревожит ближнего требованием

примкнуть к «священной идее». Однако... «Индивид убежден, что он действует в интересах своего блага, а на поверку выходит, что это далеко не так. Все те же стадные манипулируемые формы сознания определяют его поведение, и служат они все тем же целям включения индивида в мифическое, на деле размываемое противоречиями социальное целое. Меняются методы, но суть остается та же» [35, 224].

Потребителя не столько убеждают, как совращают изощренной рекламой, апеллируя при этом не к высшим, а к низшим формам его сознания, зачастую даже к подсознанию. Распространяется эта технология не только на сферу материального потребления, но и на политику.

Гулыга иллюстрирует политическую несвободу одурманенного мифом сознания отсылкой к роману «Америка» Ф. Кафки. В частности, к отображенному в нем предвыборному митингу, «который больше похож, однако, на балаганное представление», где центральным моментом запланирована «грандиозная бесплатная выпивка». Вообще Америка предстает в пересказанных Гулыгой утверждениях Кафки странной, где «не приходится рассчитывать на сострадание», где человек поработен иррациональными силами. Своеобразным символом Америки в представлении Ф. Кафки служит «ошибка» в восприятии статуи Свободы главным героем романа «Америка» Карлом Россманом. Ему привиделось, что в руках символическая свобода держит не факел, а... меч (!). «В этой замене символа американской свободы символом беспощадной власти предвосхищено дальнейшее содержание романа», — цитирует А. Гулыга высказывание немецкого рецензента романа Ф. Кафки [139, 69].

Большое внимание уделяет А. Гулыга исследованию секса, естественно, на основе западных источников, ведь в Светском Союзе, как известно, «секса не было» (!), следовательно, не было — за исключением малого числа специальных и закрытых — и социологических исследований этой тематики. Секс, к которому Гулыга (по крайней мере, в ритуальных для советского критика буржуазного Запада пассажах) демонстрирует неприязненное отношение, рассматривается им как некая специфическая форма потребления. «Деградация и извращение секса — общая болезнь всей буржуазной цивилизации XX в.: и тоталитарных, и демократических ее форм. В Третьей империи женщине была отведена чисто функциональная роль — служить средством развлечения солдат, партийных бонз и чиновников фюрера, средством продолжения рода и улучшения расы. Ныне на Западе происходит коренная ломка традиционных норм поведения, получившая наименование “сексуальной революции”» [35, 226].

В союзники А. Гулыга привлекает социолога из ФРГ, автора исследования «Социология сексуальности» Х. Шельски, который в последней главе своего обстоятельного труда «Секс как потребление» как бы резюмирует свои исследовательские усилия: «Секс уравнивается в правах с другими видами потребительской деятельности, с ни к чему не обязывающими способами получать знание, развлечься, удовлетворить любопытство» [35, 226].

Следуя магистральной теме исследования, А. Гулыге необходимо сопрячь усредненного западного участника так называемой сексуальной революции с непрерывающимся процессом сотворения мифоло-

гии. Такую попытку он предпринимает на материале фильма-провокации В. Шемана, в котором на протяжении всего экранного времени героиня пытается эпатировать буржуазную публику публичными половыми актами с партнером в, казалось бы, самых неподходящих для этого местах: перед стокгольмским королевским дворцом, на лужайке внутри разворотного автомобильного круга, в мелкой воде городского озера и т.п. При этом дает создателям фильма ряд пространственных интервью на самые различные, в основном общественно значимые, темы. «Героиня фильма интересуется политикой, участвует в общественной жизни, но сильнее всего — секс. Здесь господствуют неконтролируемые, иррациональные силы. Человек целиком во власти мифа» [35, 227].

Не очень логично и убедительно, но... вполне объяснимо с точки зрения целесообразности исполнения антизападного «критического ритуала». Впрочем, можно усилить сказанное прямой агрессивной декларацией, столь ценимой советской пропагандой. «Мифологическое сознание, как мы уже отмечали, не знает различия между естественным и сверхъестественным, обыденным и священным, для него существует единый мир, один-единственный образ действия. “Сексуальная революция” ведет к полной десакраментализации интимных отношений. Именно в сфере пола появились в древнейшие времена первые запреты, миф устанавливал их, теперь другой миф их снимает» [35, 227].

К чести автора статьи, он находит возможность представить помимо критической апологетическую точку зрения на проявившийся на Западе в послевоенное время «половой либерализм». «Самым

примечательным в исследованиях Кинси является авторская позиция, — считает А. Гулыга, представляя читателям “Нового мира” автора массового исследования сексуального поведения американских мужчин и женщин “Отчет Кинси”, проведенного в 1948 г. — Кинси настаивает на том, что все способы полового удовлетворения, к которым прибегали опрошенные, “естественны”, свойственны человеку на всем протяжении истории, более того — унаследованы им от животных предков, их можно обнаружить у большинства млекопитающих. “Противоестественны”, по его мнению, запреты, которые наложила на человека культура, многие из этих запретов обусловлены религиозными предрассудками, это бессмысленные “табу”, не соответствующие природе человека» [35, 228].

Ссылается А. Гулыга и на материалы проведенного в Венском университете симпозиума (конец 1967 г.), посвященного проблеме сексуальной «нормы». «Выступивший с докладом известный социолог Т. Адорно обрушился на понятие “половое извращение”. Секс не подлежит нормированию, человека нельзя ограничить в удовлетворении потребностей — такая была идея доклада, поддержанная выступившими в прениях философами, психиатрами и даже богословами» [35, 228]...

В завершение главы А. Гулыга фиксирует не умирание мифа, а его постоянную модернизацию в направлении господствующих на настоящий момент в обществе представлений и установок. Рьяные и непримиримые, казалось бы, «демифологизаторы» в действительности даже не помышляют об устранении мифа. Им вполне достаточно выгодным для



себя образом трансформировать его. «Входить в католический храм в мини-юбке пока еще запрещено, но “диалог между католиками и гомосексуалистами” уже ведется» [35, 228], — с сарказмом заключает автор статьи.

В последней главе исследования **«Миф и искусство»** автор, по сути, пытается отразить в зеркале современного искусства наработанные им же в предшествующих главах философы. И снова обращается к практике фашистского государства. На сей раз — в области культурной политики. «Современный миф находит своего союзника в искусстве, уводящем от размышлений. В этом отношении характерна художественная политика германского фашизма» [35, 228].

Объективности ради следует отметить, что именно в сфере государственной культурной политики и практики, как нигде более, «прозрачны» аналогии между Третьим рейхом и Советским Союзом времен сталинского тоталитаризма. Поразительную схожесть, порой до буквальной тождественности, искусства и литературы Германии и СССР той поры наглядно продемонстрировала большая обзорная выставка «Берлин — Москва», которая после более десятилетия подготовки прошла с огромным успехом в германской и русской столицах.

А. Гулыга в рассматриваемой нами статье приводит не менее впечатляющий пример подобной схожести. Он обстоятельно описывает историю выставки «Выродившееся искусство», которая была организована в Германии в 1937 г. На ней с хулиганскими подписями экспонировались выдающиеся образцы немецких экспрессионистов. Выставку возили по

стране, затем конфисковали полотна и продали на аукционе в Швейцарии, присовокупив к опальным экспрессионистам полотна Гогена, Ван-Гога, Пикассо и др. Автор статьи приводит высказывание Гитлера по поводу «выродившегося искусства»: «Отныне и навсегда будет закрыта дорога тем “произведениям искусства”, которые сами по себе непонятны и нуждаются для оправдания своего существования в высокопарных комментариях». Окончательную точку ставит авторский комментарий: «Этот факт <...> наглядно иллюстрирует ту ненависть, которую всегда испытывал фашизм к искусству свободного духовного поиска, искусству, требующему размышлений, искусству интеллектуальному — к каким бы формам это искусство ни прибегало» [35, 229].

А где же советский аналог? Естественно, указать на него впрямую в те времена А. Гулыга не мог, но он был свеж в памяти не только советских художников, но и, благодаря стараниям прессы, самых широких слоев населения страны. Речь идет о посещении руководителями партии и Советского государства 1 декабря 1962 г. художественной выставки МОСХа<sup>39</sup> в Манеже, на которой Н. Хрущев в далеко не парламентских выражениях подверг резкой критике картины, содержащие, по мнению консультировавших главу страны ортодоксальных искусствоведов, признаки формализма и даже — неотмолимый грех! — абстракционизма.

Не имея возможности сослаться на наш, отечественный, аналогичный германскому времен гитлеризма, опыт подавления иных философских и

---

<sup>39</sup> Московское отделение Союза художников СССР.

эстетических воззрений в области искусства, А. Гулыга делает это в отношении «агрессии обывателя» современной ему ФРГ. «Никто не дает себе труда понять увиденное и обнаружить скрытый в нем смысл. Никто не только не пытается это сделать, но, наоборот, отворачивается от того, что не соответствует привычному образцу, и уходит с ругательствами» [35, 229 – 230].

Поскольку «привычный образец» для усредненного обывателя — это, как правило, произведение традиционного реализма, дальнейшие усилия автора статьи посвящены выяснению сути этого понятия. «“Реализм”, которого требует публика и который ей подсовывает “индустрия культуры”, не имеет ничего общего с подлинным реализмом, — решительно заявляет автор. — Об искусстве вообще нельзя судить лишь на основании внешних данных. Деформируют ли они реальные формы или строго воспроизводят их, не в этом дело. Оценке подлежит художественное произведение, взятое в целом, в единстве формы и содержания. Только там становится очевидным, служит ли оно укреплению мифа или целям демифологизации, является ли оно псевдоискусством или подлинным искусством» [35, 230].

Окончательно позиционировав миф как явление, опасное для носителя своим эскапизмом и экстатическим состоянием, А. Гулыга в завершение статьи предупреждает, что в грядущих, суровых для человечества временах людям, как никогда ранее, потребуется ясная голова. «Конечно, не одно логическое мышление концентрирует в себе созидательные возможности человеческого духа. Способность к любому творчеству интуитивна. Иерархию ценностей,

определяющих поведение, человек строит, руководствуясь не только понятийным сознанием. Но в отличие от мифа и творческая и ценностная интуиция контролируется практикой, служит делу человека» [35, 232].

2. Очерк Вл. Канторовича «Социология и литература» (1967, №1) применительно к поднятой нами теме можно рассматривать как «малую энциклопедию» предмета, как точно и тонко настроенный на исследование этой темы камертон. Вот как определяет свои задачи сам автор. «В этой статье я хочу познакомить читателя с итогами некоторых социологических исследований, а также высказать суждение о потенциальных взаимосвязях социологии и социологии<sup>40</sup>, науки и литературы. Постараюсь хотя бы пунктиром обозначить стыки между этими двумя сферами деятельности, близкими друг другу и по цели — исследованию общества, а кое в чем и по методам».

Поставленные задачи автор решает, подвергнув анализу:

---

<sup>40</sup> «Это словечко — социология — я услышал впервые в Венгрии. В Будапеште я провел целый день в социологическом центре при Академии наук. В конце беседы гостеприимные хозяева предложили познакомить московского писателя со “своими социологами”. На западе нет термина, соответствующему нашему “художественному очерку”. Там пользуются широкими и неопределенными понятиями, как “невывышенная литература”, “документальный жанр”, или более узкими определениями “репортаж”, “эссе”, “скетч”. В последнее время к рассказам и очеркам, исследующим современное общество, приросло это характерное словечко — “социология”, ближе всего стоящее к нашему очерку нравов. Мне хотелось бы, чтобы выразительное слово “социология” прижилось и в нашем литературном обиходе» [47, 148].

— некоторые теоретические посылки науки об обществе, в частности — сформулированное Марксом и Энгельсом учение об историческом материализме как философии истории;

— феномен бурного возрождения и развития отечественной социологии в 60-е гг. XX в., прежде всего — конкретных социальных исследований;

— российский дореволюционный опыт аналогичных исследований, которые велись по материалам городских управ, акционерных обществ, фабричных инспекторов, бирж, первых профсоюзов, обществ трезвости и пр. «Россия издавна славилась высокой культурой подобного типа исследований. Земская статистика прославилась, например, смелым применением выборочного метода» [47, 149];

— российский послереволюционный опыт до фактического запрета социологии. Автор отмечает, что в два первых советских десятилетия состоялись многочисленные социологические исследования, начиная с опубликованного в книжке А. Тодорского «Год с винтовкой и плугом». В этот период вышли в свет работы, характеризовавшие экономический быт, практически всех категорий населения, не исключая ремесленников, отходников, даже частных (в период нэпа). Закладывались и анализировались десятки тысяч посемейных записей доходов и расходов, С.Г. Струмилин активно исследовал бюджеты времени у различных категорий советских людей. Активно применялись социологами того периода и субъективные методы, широко использовались интервью, анкетирование, о чем свидетельствует, скажем, брошюра «О половом вопросе», опирающаяся на анонимную анкету среди студентов ряда вузов;

— совокупность социальных отношений. Здесь автор демонстрирует современный подход к предмету, не ограничиваясь лишь производственными отношениями, не игнорируя, как это имело место в отечественных науках об обществе «дооттепельного» периода, влияние вторичных факторов, «коммуникаций», которые также активно формируют сознание и волю людей. Автор подвергает осторожному пересмотру общепринятую модель структуры общества, вслед за передовыми социологами-современниками<sup>41</sup> структурируя общество не только на *классы*, но и на *группы*, внутри которых проистекают не только *объективные*, но и *субъективные* явления и процессы;

— связь между надстройкой и базой в контексте пресловутой «теории бесконфликтности». Тут автор, оправдывая название статьи, привлекает современную литературу. «Художественной литературе, за исключением, пожалуй, развлекательных жанров, присуще жадное стремление раскрыть жизнь в ее многообразии, проникнуть в глубины человеческой психики, вскрыть социальную психологию через множество представительных образов, — утверждает он. — Тут цели литературы и социологии как бы накладываются одна на другую: ни писатели, ни социологи не довольствуются “усредненными обобщениями”, оторванными от жизни абстракциями. Они отвергают возможность представить все характерное

---

<sup>41</sup> Вл. Канторович в этой связи напрямую указывает на материалы исследований и публичные высказывания новосибирских социологов (А. Аганбегян, В. Шубкин и др.), создателей обстоятельной коллективной работы «Количественные методы в социологии» (1966).

для общественного класса в одном-единственном “ведущем типе” [47, 151];

— сложившиеся стереотипы в отношении зарубежной социологии. Признавая определенную ангажированность зарубежной социологии капиталом и истеблишментом, автор тверд в принципиальном мнении, что «одно лишь отрицание “буржуазной социологии”, когда речь идет о научных методах конкретных социологических исследований, кажется пережитком давно пройденного и неплодотворного этапа», а «внушаемое авторами некоторых статей о социологии презрение ко всей обширной научно обработанной информации, которую содержит прогрессивная зарубежная социология, приносит вред как раз нашей советской науке» [47, 151];

— некоторые стереотипы общественного сознания, оказавшиеся под прицельным огнем социологов в процессе проведения ими конкретных социальных исследований. Этой теме посвящен самый обширный и обстоятельный раздел статьи, в которой автор представляет, анализирует, развивает и уточняет факты и положения ряда современных ему актуальных социологических исследований, объединенных им в теме «Рабочий класс СССР». Приведем два примера описанных Вл. Канторовичем выводов социологов, очевидных сейчас для нас и революционных по тем временам.

а) Демографы установили, что организованная государством миграция трудовых ресурсов из регионов, где ресурсы эти избыточны (Средняя Азия, Молдавия, Северный Кавказ, Кубань и т.д.), в районы Сибири и Дальнего Востока оказалась ошибкой, так как только 10% таких мигрантов осели на новых

территориях, а по-настоящему укоренились из них не более 4%. «Выходит, лучше бы потратить часть средств, расходуемых на плановые переброски рабочих к востоку от Урала, — на строительство жилья в Сибири, на детские ясли, на восстановление “льгот за отдаленность” и т.п. — высказывает предположение автор статьи и сам же дает верный ответ: — В этом случае, можно не сомневаться, много больше старых и новых жителей пустило бы глубокие корни на Сибирской земле» [47, 153].

От себя добавим, что, казалось бы, совершенно очевидный сейчас вывод отнюдь не является таковым для нынешней российской власти, которая с упорством, достойным лучшего применения, вместо планомерного обустройства отдаленных российских регионов продолжает чреватую для страны этническими конфликтами политику размещения там во всех смыслах ненадежных мигрантов из зарубежных стран, в основном из бывших республик бывшего Советского Союза.

Осознание ошибочности миграционной политики советского руководства подвигло автора статьи на раскаяния от имени литературного сообщества, активно пропагандировавшего сомнительную «романтику палаток». «Издано великое множество произведений, обыгравших так и сяк высокое понятие “романтики”. Но разве романтика в том, чтобы ребята соглашались жить в палаточных и барачных городках, не имея возможности продолжить учение, создать семью, и притом жить так столько времени, сколько заблагорассудится хозяйственникам?» [47, 153].

б) Современные данные социологов опровергли выводы С.Г. Струмилина о том, что добавочный



год школьного образования дает в 2,6 раза большую прибавку квалификации, чем год заводского стажа. В работах ленинградцев А. Здравомыслова и В. Ядова, в статьях казанского социолога Н. Аитова, в труде новосибирских социологов «Количественные методы социологии» сформулирован вывод, что между средним образованием и квалификацией рабочего существует обратная связь. Рабочий стаж, обучение профессии непосредственно на рабочем месте дают в итоге для профессиональной подготовки рабочего больше, нежели школьное образование.

С таким мнением Вл. Канторович ведет на страницах своей статьи латентную и прямую полемику, предлагает в ряде случаев свою, характерную для *литературного подхода*, позицию. «Не думаю, чтобы хоть один литератор согласился с утилитарным отношением к среднему образованию. Не говоря уже о ложной посылке, будто бы духовные потребности не должны опережать реальных возможностей их удовлетворения <...>». И далее: «Когда речь шла о дальнейшем расширении среднего образования, я не захотел следовать за социологами, выдвинувшими единственный критерий его эффективности: меру повышения рабочей квалификации. На первом плане стоят, по-моему, культурные потребности страны, трудные задачи воспитания подростков <...>» [47, 156 — 158]. Сомнения автора статьи не лишены смысла. Они основываются на постулатах той позиции, которая теперь все чаще иронично и пренебрежительно определяется как «абстрактно гуманистическая» и принципиально противоречит рационализму прямой выгоды, который, как к этому ни

относиться, все более утверждается в отечественной социальной реальности;

— низкую эффективность в СССР инженеринга, прикладной науки. Этот раздел словно бы взят из современной нам, жителям первого десятилетия XXI в., реальности. «Как же случилось, что инженеров у нас на целый миллион больше, чем в Америке, а промышленная продукция составляет пока 65% от американской? — задается “неудобным” вопросом Вл. Канторович. И продолжает в том же ключе: — Да и по качеству мы не всегда стоим на уровне мировых стандартов, и число патентов на изобретения у нас во много раз меньше... Отдача армии научных работников низка, научные рекомендации внедряются медленно... В США 60% исследований, непосредственно затрагивающих интересы промышленности, ведется в лабораториях и экспериментальных цехах самих предприятий, у нас — только 2%... По данным Н. Аитова, почти половина специалистов, закончивших вузы и техникумы, работает не по специальностям, по которым училась...» [47, 158 — 159]. И т.д. и т.п...

Вывод суров и во многом трагичен: истоки и причины наших сегодняшних бед, удручающей неустроенности нашего народа коренятся не только и, скорее всего, даже не столько в драме развала СССР и эгоистическом безразличии к народным нуждам прозападных радикальных неолибералов, которые провели сказочно обогатившие их и одновременно разорившие страну реформы, сколько в нашей принципиальной неспособности должным образом, в интересах всего населения, перестроить экономику и общественный уклад страны. Пресловутые

«шестидесятники» благодушно заболтали предоставленные «оттепелью» возможности истинных демократических реформ общества и государственного управления, не осуществили необходимой индустриальной трансформации СССР. Так же «в свисток» ушел благой поначалу реформаторский пафос горбачевской перестройки, а неолиберальные намерения «раскрепостить труд и капитал» обернулись невиданной в истории человечества растащиловкой и грабежом народа. Пока, увы, все в той же демагогической болтовне тонут с большим трудом скорректированные от неолиберального экстремизма реформы. Неспособность адекватными действиями оперативно реагировать на все более усложняющиеся вызовы времени становится трагической парадигмой нашего антиразвития, антипрогресса. Призрак испустивших дух 60-х, на которые возлагалось так много радужных надежд, все чаще приходит на память при взгляде на шаткую реальность зачина двухтысячных годов...

Отдельно остановимся на заключительной главе статьи, посвященной взаимодействию социологии и литературы, по любезной автору новейшей терминологии — *социографии*. Помимо примеров плодотворного сотрудничества социальных ученых и литераторов, тяготеющих к социальной тематике, в ней содержится необычная и даже, на первый взгляд, фантастическая идея провести силами социологического и литературного содружеств перепись «литературного населения» на предмет прояснения их типов-характеров. Вот как сформулировал эту, на наш взгляд, творчески интересную и перспективную задачу сам автор: «Предлагаю поставить перед на-

метившимся содружеством социологов и социографов увлекательные практические задачи, а именно: **провести опыт переписи литературного населения и некой инвентаризации проблем (конфликтных ситуаций), поднятых художественными произведениями на разных этапах истории советского общества» [47, 171].**

Но как это сделать? — задается вопросом автор, ведь количественные методы, взятые на вооружение социологами, и литературный психологизм не просто различны по методологии, но во многом противоположны.

Однако это поверхностное суждение.

*Во-первых*, — утверждает автор статьи, — социолог В. Шубкин научился даже градации качественных признаков личности выражать в количественной форме, и теперь его открытие доступно многим и многим коллегам.

*Во-вторых*, и традиционным инструментарием количественного метода вполне возможно уловить особенности образного мышления, учитывая, что писатель вообще, а тем более писатель социальный, в творчестве своем движется по пути *типизации* героев, типизации, которая в принципе предполагает статистический метод. Ведь типичным, характерным в персонаже становится то его качество или комплекс качеств, которое (которые) наиболее часто повторяются в различных жизненных коллизиях, обретают по отношению к персонажу эмблематичность, становятся одновременно и его визитной карточкой, и объективной характеристикой. Другое дело, что большинство писателей такой статистический отбор производят неосознанно, интуитивно, исходя

в первую очередь из логики внутреннего развития персонажа-образа, из сложного многообразия его социального общения и сосуществования с другими персонажами текста. Через многообразие типов, среди которых непременно выделится типологический для данной ситуации, посредством повторяющихся конфликтов писатель и приходит к изображению социального явления. Естественно, чем выше частота и того и другого, тем бесспорней, ярче предстает перед нами литературный *тип*, объективно отражающий существующее в жизни явление и характеристическую типологию личностей во всей сложности ее разнообразно субординирующих отношений.

Автор пишет, что во время одного из круглых столов на легендарном теперь сухумском симпозиуме социологов он изложил свою идею «переписи» и «инвентаризации» методами социологических исследований литературного населения наших домашних книжных полок и публичных библиотек. Идея эта встретила понимание Ю. Замошкина, В. Шубкина, В. Ядова, а в выступлении академика А. Румянцева схожие идеи, применительно к иному материалу, были сформулированы уже как его авторские. «Предвижу бесчисленные аспекты, в которых предстанет литература после того, как ее произведения подвергнут массовому исследованию социологическими методами, — предположил в финале статьи Вл. Канторович. — Естественно, ученые (социологи. — *Авт.*) не станут посягать на оценку художественных образов, композиции, языка — это дело лингвистов, литературоведов. Зато социологический анализ позволит отчасти судить, в какой мере литература справляется с функциями отражения жизни» [47, 172].

Жаль, что этой интересной идее так и не суждено было воплотиться в жизнь. Для проведения «переписи» и «инвентаризации» героев и конфликтных ситуаций русской литературы хотя бы советского периода, скажем, силами студентов-социологов, как нам представляется, не потребовалось бы чрезмерных организационных и исследовательских усилий. Такой формальный (и тем уже полезный студиозам!) анализ позволил бы не только, как пишет автор статьи, «судить, в какой мере литература справляется с функцией отражения жизни», но и помог бы нам самим более полно и объективно увидеть своеобразный коллективный портрет нации, составленный из зафиксированных писательскими талантами множества образов-характеров. Одна из наших бед — плохое, во многом все еще мифологизированное и идеологизированное знание о нас самих. В реальной действительности. В дымке истории. В гипотетических ситуациях завтрашнего и послезавтрашнего дней. Восполнить этот пробел и была призвана пока еще не реализованная идея социального писателя Вл. Канторовича... Впрочем, благое дело никогда не поздно совершить...

## 4.2. Социологический очерк

Начиная со второй трети 60-х гг. «Новый мир» публиковал социологический очерк практически в каждой журнальной книжке, зачастую по два в одном номере. Но подвергать анализу большинство из них для нас не имеет смысла: характерной особенностью жанра является, прежде всего,

его *структурная и содержательная однотипность*. Поэтому достаточно проанализировать лишь несколько образчиков, чтобы представить читателю типологическую картину жанра в целом.

Сформулируем основные для этого сегмента нашего исследования вопросы:

— какие признаки, помимо однотипности, характеризуют жанр новомировского социологического очерка?

— в чем его родство и отличие от русских «физиологий» XIX в., которые мы рассматриваем в качестве генезиса отечественной социологии?

Характеристической особенностью можно назвать *монотемье*. Если, к примеру, в заголовке очерка К. Буковского указаны «Малые города» (1965, № 8), то ничто иное, кроме как малые города России, не заинтересует автора на протяжении всего очеркового текста. Но зато тему эту он постарается исследовать во всей полноте имеющихся в его распоряжении возможностей. В качестве объекта определит самые характеристические, к тому же привлекательные уже своими историческими названиями города: Зарайск, Кулебаки, Ардатов, Кашин, Кирсанов, Мухтолово и совсем малые городки и поселки, на названия которых не станет даже тратить, а объединит их в единую рубрику — «заштатные». Выстроит маршрут по убывающей: от «больших» малых городов, серьезным образом влияющих на экономику области, до районных центров, социально-экономическое значение которых территорией района в большинстве случаев и ограничивается, и далее — к почти атомарным величинам, к городкам совсем крохотным, рабочим поселкам, поселкам городского типа

и т.п., в которых, однако, тоже живут люди и жить хотят достойно. «Все они ждут решения, все ждут экономического приговора».

Что до сравнения новомировского очерка 60-х гг. XX в. с русскими «физиологиями» 30—40-х гг. XIX в., то для этой цели лучше всего подходит очерк Ю. Черниченко «Помощник-промысел» (1966, № 8).

Промысел, о котором идет в нем речь, это — трудовые занятия, близкие представленным И.Т. Кокоревым в первой главе нашего исследования «делателям мелкой промышленности московской». С той, пожалуй, разницей, что для наших московских предков занятия эти составляли основу их трудовой деятельности и служили основным источником заработка, а для большинства колхозных героев Ю. Черниченко являлись побочным, дополнительным *приработком*. Которым, однако, вовсе не стоило пренебрегать, ибо решал он серьезные экономические проблемы и самих промысловиков — колхозных крестьян, и объединившего их коллективного хозяйства. В нашем случае — меццарского колхоза «Большевик». О чем и свидетельствуют (табл. 5) статистические данные трех лет, которые приводит Ю. Черниченко, анализируя выборочные показатели колхозной экономики (в разрезе основного, аграрного производства и сезонного промысла) исследуемого им хозяйства.

Таблица 5

**Данные о промысле в экономике  
колхоза «Большевик»**

<i>Экономические показатели</i>	1962	1963	1964
Денежные доходы колхоза (тыс. руб.) — в том числе в подсобных предприятиях	665,7 288, 9	933,1 465,3	1022,1 702,7



Связано метел (тыс. шт.)	585	1099	1853
Выжжено древесного угля (т)	1147	1066	1853
Изготовлено черенков (тыс. шт.)	—	144	266
Затрачено человеко-дней в хозяйстве (тыс.)	146,1	141,8	148,6
В том числе в подсобных предприятиях	16,6	18,8	34,2
Выработано человеко-дней одним колхозником	307	307	308

Как следует из табл. 5, удельный вес промысла в доходах неуклонно рос и достиг 70%, причем показатель этот дался только ценою 23% рабочего времени! Это устойчивая, не зависящая от погоды часть поступлений. Причем — немаловажная деталь — промысел дает занятость зимою полеводу, подтягивая его заработок до уровня животновода. Этим объясняется очень высокая, прямо-таки идеальная активность (308 рабочих дней в году) и достаток рабочей силы: в члены колхоза желали поступить сотни, принимали давно с большим разбором.

С дотошностью истинного исследователя Ю. Черниченко задается основными вопросами: как организовано производство, дающее 700 000 руб. дохода? Каково взаимовлияние промысла и сельского производства? Не помешает ли «коммерция» поставкам мясо-молочной продукции, на которой специализируется колхоз? Можно ли развивать промысел, не имея своего сырья? Можно ли отстающему хозяйству подняться на ноги без промысла?

Анализируя экономику промысла, автор не останавливается на макропоказателях в масштабах всего хозяйства. Путем личного знакомства с промысловиками, непосредственно наблюдая их в процессе трудовой деятельности, доверительно расспросив о

доходах и тратах, делает объективные выводы относительно доходности промысла для каждой отдельной категории работников:

- 1) престарелых селян;
- 2) колхозников с постоянной должностью;
- 3) сезонных работников.

Для полноты представления об исследуемом предмете обращается к давней и недавней (советской) истории вопроса. Показывает, что во Владимирской губернии, куда входит Мещера, до Октября 1917 г. промыслом занимались 50 тыс. крестьян, но в 1938 г. подсобная деятельность колхозов впервые была объявлена незаконной и промысел поставили под прокурорский надзор! И рухнули в одночасье поднявшиеся на промысле после разрухи Гражданской войны коллективные аграрные хозяйства!..

Особенности и экономика плотницкого, берестяного промыслов, изготовления нестандартных сувениров, плетения кружев и прочая, прочая — нашли отражение в очерке Ю. Черниченко, главную идею которого четко выразила завершающая фраза: «Время мыслить, время умно хозяйствовать, время жить богаче»...

Монотемье каждого отдельно взятого очерка при большом их количестве создает на журнальных страницах широкую тематическую палитру. Поскольку авторы, как правило, являются специалистами в конкретных областях знания, пишут о том, чем владеют со скрупулезностью и углубленностью профессионалов, тексты их интересны и полезны таким же, как сами авторы, специалистам. Но и читателям-дилетантам, разумеется, интересны и полезны, ибо уровень литературной отделки новомировских со-

циологических очерков выше всяких похвал. Этот фактор — *высокое стилистическое качество текстов* — также следует отнести к разряду характеристических.

Автор «Хроники рабочих курсов» А. Процкевич (1968, № 8) рабочей педагогикой занимался значительную часть своей бурной созидательной жизни и в качестве журналиста публицистического склада, и как практик советской рабочей педагогики, и как ученый-теоретик. Поэтому, когда «автор задумал отразить одну из страниц в истории просвещения рабочей массы, когда бывшая мастеровщина дорвалась до учебы и полвека тому назад заявила о своих правах на культуру» [98, 93], сделать это ему удалось в наилучшем виде.

К чести редакции журнала, она при подготовке материала к печати сохранила оригинальную манеру изложения автора, буквально сразу, с первых фраз, напомнившую одновременно и литературно-педагогические труды Антона Макаренко, и увлекательнейшую «Республику ШКИД» Григория Белых и Леонида Пантелеева, и другие, напитанные публицистической дидактикой опусы времен послереволюционного становления советской власти.

«Говорят, неплохие кадры готовил себе завод: подлинных мастеров горячих и холодных цехов; случалось, со временем инженеры из них получались. В июле сорок первого эшелон добровольцев набрался из этих ребят...» [98, 104]. Так, со сдержанным достоинством уверенного в своей правоте работника заканчивает автор свое повествование о рабочих заводских курсах, к которым сам имел самое непосредственное отношение. И быть не может

более высокой оценки педагогического труда скромных заводских наставников, чем тот факт, что целый эшелон *добровольцев* на фронт набрался из их заводских воспитанников в первый же месяц Великой Отечественной войны...

В том же журнальном номере Ю. Черниченко публикует пространный очерк «Колос Юга», речь в котором идет о, казалось бы, таких прозаических и узкоспециальных предметах, как клейковина, содержание белка в пшенице. Но разве не каждый день каждый из нас, в подавляющем большинстве случаев даже не отдавая в том себе отчета, сталкивается на практике с этими понятиями, разрезая к трапезному столу хлебный каравай?

Популярный журналист-аграрий, ведущий специалист в области зерновых культур Ю. Черниченко заводит разговор о пшеничном колосе России неспроста. Да, пшеница русского Юга — лучшая на континенте. «Хлеб Причерноморья несравненно лучше хлеба, выращенного в других странах Европы, и обязан этим превосходством отменному количеству заключенного в нем белкового вещества, — цитирует автор очерка известного французского ученого Гей-Люсака. — Так, французский хлеб содержит в себе 30% этого вещества, а одесский в крайнем случае 40%» [126, 205]. Все это хорошо, но... возникли проблемы. Пшеничный колос русского Юга требует внимания, заботы, капиталовложений для продолжения успешной селекции. Только в таком случае — убеждает автор в финале статьи: «Общим памятником ныне живущему поколению может стать обновленный колос Юга — полновесный, литой, годный хоть в хлеб, хоть в герб, достойный зависти мира и уважения потомков».

Такой умеренно пропагандистский финал одного конкретного социологического очерка подвел нас к ответу на второй нами же сформулированный исследовательский вопрос о различиях новомировского социологического очерка 60—70-х гг. XX в. от его «физиологического» предшественника из 30—40-х гг. XIX в.

На наш взгляд, из существенных различий можно указать на наличие в большинстве очерков советского периода этой самой пресловутой *пропагандистской составляющей*.

В очерке «Колос Юга» эта компонента выражена легким штрихом, но есть иного рода примеры. Один из также аграрных очерков, который в целом объективно, профессионально и обстоятельно повествует об обустройстве целинных поселков, настойчиво, чтобы не сказать назойливо, внедряет в сознание читателя тему яблоневых садов на целине. И хоть сам автор признается, что степь — не лучшее место для подобного рода садоводства, установка на пропаганду соответствующей партийно-правительственной директивы довлеет над ним и заставляет заниматься демагогией и прожектерством. Куда деться, если даже с советской эстрады, которая, кстати, всегда являлась мощнейшим инструментом партократической пропаганды, сладкоголосые теноры, как говорится, «на голубом глазу» утверждали под фортепианно-гитарный аккомпанемент, что «и на Марсе будут яблони цвести». Марс как Марс, не проверишь, а вот на освоенной советскими людьми целине яблоневые сады, по мнению советских начальников, цвести просто были должны!..

К еще более очевидным проявлениям пропагандистской составляющей следует отнести возрас-

тающую с каждым годом тенденцию цитировать в социологических очерках уже не только классиков марксизма-ленинизма, но и тогдашнего лидера страны Н.С. Хрущева, инициированные им партийные и правительственные документы.

Смеем предположить, что такая практика в «левом» «Новом мире» объяснялась не только вполне понятным желанием редакции и руководства журнала не идти на новые конфликты со властью предрержащими, но и более изощренными мотивами; публикуя верноподданнические цитаты, журнал как бы сигнализировал читателю о тенденции утверждения в общественно-политической жизни страны культа нового политического лидера, на сей раз — гротескной до карикатурности фигуры плохо образованного (не удосужился пройти курс вообще никакого учебного заведения!), вздорного до истеричности, нелепого в своих суждениях и поступках, неумного «кукурузника» Н.С. Хрущева. Как говорится, «за что боролись — на то и напоролись...»

## 5.2. Социологизированная проза

Элементы «статистического социологизма» (по форме) демонстрирует автор рассказа «Я — маленький» Ф. Камов, создавая (по сути) повествование-притчу, повествование-метафору на главную, можно сказать, тему так и не укоренившейся в суровых отечественных широтах «оттепели» — на тему «преодоления сталинизма» [44, 126].

«Я утверждал, что маленькие всегда были двигателями прогресса... маленькие волей-неволей заду-

мывались над тем, как поднять эти проклятые грузы с малыми силами, и в результате изобрели рычаг, лебедку и систему блоков (изобретатель Архимед, рост сто шестьдесят пять сантиметров).

Когда большие, ни о чем не думая, весело развились на марафонских дистанциях, какой-то запыхавшийся от бега маленький в порыве отчаяния изобрел колесо... Вскоре маленькие стояли перед чертежными досками и изобретали паровоз (изобретатель Стефенсон, рост сто пятьдесят восемь сантиметров)» [44, 130].

Конечно, во всем этом небольшом рассказе важен не сюжет, которого, собственно говоря, нет, а именно смысловой подтекст, идейная аллюзия. Под «большим» Ф. Камов подразумевает сурового безжалостного вождя. «Маленький» в его авторской концепции — это человек толпы, пресловутый сталинский «винтик». В социально маленьких, старается исподволь убедить нас автор рассказа, и заключена жизненная суть. Они, т.е. мы, — главные, незаменимые. И не важна в такой творческой самоустановке правда факта, которая утверждает как раз обратное: именно маленькие ростом люди, страдаемые «комплексом неполноценности» (по З. Фрейд), чаще всего и отличаются повышенной жестокостью. Для утверждения своей художественной гипотезы автор совершает *субъективную выборку статистических данных*, приведя в качестве примера исконной «хорошести» «маленьких» нескольких низкорослых гениев человечества и проигнорировав куда как большее число коротышек-мерзавцев. Подчеркнем, речь не идет об авторском подлоге. «Просто» (!) автор изложил *часть* правды (малую ее толику!), а

другую, совсем не выгодную ему часть правды этой, молчаливо обошел.

В художественном тексте такая выборочность и вольность по отношению к «правде факта» не просто допустима — она суть метода. Художественность — всегда предельно субъективна.

Другое дело — научное исследование. Ниже мы покажем, сколь опасна для научного (в частности — социологического) анализа не столько даже недобросовестность исследователя, сколько недобросовестность тех, кто ответственен за объективность представляемых ученым фактов...

Финал рассказа грустен и... компромиссен. «Теперь я тоже большой. Я не вырос, но я все равно большой. У меня есть сын: он для меня маленький, я для него большой. Самый большой человек на свете — это я. Больше меня нет никого».

Очевиден эскапизм автора, который как бы предпочел уход из «плохой» несправедливой социальности в семью, где тебя не подведут. В ней, семье, есть еще более маленький — сын, дай-то Бог не испытать ему унижения социально «маленького» человечка...

Если иронично-грустная притча Ф. Камова демонстрирует не более чем *фрагменты* социологического подхода, да и фрагменты те в контексте рассказа, скажем прямо, выглядят как-то несерьезно, даже ернически, то рассказ Ю. Аракчеева «Подкидыш» [2] — это реальная социологизированная проза. В ней ясно проявлен соответствующий художественно-научный *метод* изображения, за прозой этой в самой близкой временной перспективе возник ряд аналогичных феноменов, что дает нам основание отнести этот ряд к вполне оформившемуся *направлению*.



*Место действия* рассказа — лаборатория испытания двигателей, скорее всего, по нарочитой проговорке автора, упомянувшего цех шасси, — большого самолетостроительного завода<sup>42</sup>.

*Главный герой* — стендовый испытатель, «простой работяга» Фрол Горчаков.

*Интрига* — среди доставленных в цех на обкатку двигателей один оказался с множеством дефектов, которые давали основание Фролу отправить дефектный мотор частично на переплавку, частично — на запчасти. Но он не допустил его гибели. Выкраивая буквально минуты из обеденного перерыва, до начала смены, во время простоя внутреннего лабораторного конвейера, все-таки исправил неполадки и отправил «подкидыша» (так ласково-снисходительно Фрол назвал мотор-бедолагу) на главный конвейер сборки. При этом, как и должно быть в подобных ситуациях бескорыстного энтузиазма, испытал «чувство удовлетворения рабочего человека за добросовестный труд».

«И только проводив его глазами до выходных ворот ЛИДы и взглянув в последний раз на его серебристую корзинку, на картер, похожий на приплюснутый рыбий живот, на карбюратор, который выделялся своим зеленоватым некрашеным металлом, Фрол вздохнул и огляделся. Его ждала работа» [2, 82].

Работа как процесс строительства коммунистического общества — все; мелкие частности трудной, плохо обустроенной жизни тех, кто созидательный процесс этот обеспечивают, — работяг — столь не-

---

<sup>42</sup> Даже в так называемых художественных произведениях тогдашняя цензура не рекомендовала упоминать производства оборонного назначения.

значительная величина, что зачастую вполне возможно определить ее как *ничто*. Эта вот полнота тезиса и характеризует «оттепельную» литературу, и, в частности, исследуемый нами рассказ, отличается от «литературы периода тоталитаризма», когда пресловутый «метод лакировки действительности» ни в коей мере не предполагал отражение реальности во всей ее полноте. О трудовом энтузиазме советских людей — пожалуйста, пишите сколько душе угодно, а вот о неустроенности простого народа, следствием которой во многом становится деградация личности, об этом писать ни в коем случае не нужно, все равно бдительная цензура не пропустит. В этом плане рассказ «Подкидыш» решительно преодолевает многолетние писательские табу, возвращается на новом витке социально-литературного развития к более прогрессивному, сравнительно с искусственно выдуманном методом *социалистического реализма*<sup>43</sup>, методу *критического реализма*.

Менее всего Фрол Горчаков похож на традиционного идеального героя советской литературы еще недавних времен тотального соцреализма.

---

<sup>43</sup> Термин этот, чье авторство, по одной версии, приписывается М. Горькому, по другой — крупному партийному функционеру А. Жданову — характеризуется попыткой соединить понятия из социально-политической области — «социализм» и литературоведения — «реализм». В 70-е гг. А. Овчаренко предложил было (конкретно в отношении творчества А. Грина) термин «социалистический романтизм», но получил суровую отповедь. Предложение литературоведа расценили как диссидентскую попытку «размыть» несуразный термин «социалистический реализм» в чреде еще более несуразных уточнений и тем самым окончательно скомпрометировать его.

*Во-первых*, он находится в конфликте с женой, притом, как становится ясно из довольно частых рефлексий Фрола, причина этого конфликта коренится в нем самом. «Когда он пришел домой, Валентина уже лежала и, повернувшись к нему спиной, старательно и упорно делала вид, что спит, хотя он знал, что она не спит <...> С Валентиной они вообще-то давно уже были не в ладах. Не то чтобы уж очень ругались, а так, перемогались кое-как, и ладно <...> Валентина сначала дулась, а потом даже и кричала, что уйдет, что ей надоела такая жизнь» [2, 66, 68, 75].

*Во-вторых*, регулярно выпивает, при этом отнюдь не всегда ограничивается пресловутой «маленькой». «Они купили бутылку “зубровки”, и Генка отлил себе половину, а Фрол спрятал оставшиеся полбутылки в карман пиджака. “За “подкидыша” выпью”, — подумал он. И усмехнулся виновато».

*В-третьих*, — подчеркнуто аполитичен; когда его товарищи обсуждают странным образом принятые за них обязательства («— А нас почему не спросили? — сказал Сергей. — Спросят. Митинг будет — и спросят. — Сначала приняли, а потом спросят, понял? — пояснил Умейко и улыбнулся»). Фрол молча встает и отправляется из цеха.

*В-четвертых*, склонен к аморальному поведению, заведя на работе так называемый «производственный роман». «Все на складе и в цехе знали, что Соня — мать-одиночка <...> Фролу она очень нравилась, и он, видимо, ей тоже <...> Фролу Соня часто <...> снилась каждый раз после этих снов он чувствовал себя каким-то просветленным и часто приходил причину, чтобы зайти на склад» [2, 71].

Можно продолжить реестр недостатков литературного героя, но лучше попытаемся если и не оправдать его, то хотя бы показать естественность его психологических и социальных реакций с позиций истинных здравомыслия и нравственности.

1. Что до обиженной жены Фрола, то, оказывается «позавчера она пришла поздно, сказав, что было какое-то там собрание у них на фабрике <...> Фрол никак не мог перетащить ее на завод — не хотела <...> И хотя у Фрола не было никаких оснований не верить ей, будто червячок какой забрался в него — и точит, и точит» [2, 68].

2. Так вышло, что фронтовик Фрол Горчаков с юности приучился заливать «наркомовскими» стаграммами волнения и беды, которые, увы, не оставили его и в послевоенной мирной жизни. Его ли в том вина?..

Обратим внимание, что, одалживая на выпивку два рубля, Фрол обращался с этой просьбой к трем коллегам-рабочим и в итоге разжился только одним рублем, а ведь трудились в лаборатории отнюдь не начинающие рабочие. Такое удручающее безденежье зрелых квалифицированных пролетариев лучше всяких демагогических пропагандистских утверждений указывает на истинное материальное положение рабочего класса в СССР.

3. Покинув курилку, где его товарищи судачили по поводу фактически навязанных им производственных обязательств, Фрол ушел на участок, чтобы...заняться «подкидышем»! Так внешняя аполитичность героя, благодаря мастерству социального писателя, оборачивается утверждением за ним истинной политической ответственности — за конкретный

мотор, который он может спасти, за лабораторию, цех, завод, политический класс, страну... Здесь же, у «подкидыша», происходит главный в идейном смысле для всего рассказа диалог Горчакова с товарищем. «— Федя, подмогнешь? — спросил он, подойдя к баку. — Ты что, Фрол Федорович, офонарел, что ли? — засмеялся Умейко. — Тебе чего не хватает? — Не в том дело. “Офонарел!” Возьмут его — понимаешь, нет? На запчасти возьмут. — Ну и пусть берут, — сказал Федя. — Охота тебе возиться? — Раз беру — значит, охота, — сказал Фрол» [2, 79].

4. «Производственный роман» Фрола тоже оказался значительно серьезней и глубже, чем можно было предположить. «По дороге забежал на склад. Сони не было. — Где Соня? — Нету. Больна. — Не может быть, вчера же... — Вчера работала, сегодня не вышла. Скарлатина у девочки, понял? “Больна. Девочка больна!” Фрол даже покраснел отчего-то <...> Он почти не слышал, что говорит оратор, он думал о Соне. Сходить или не сходить? Можно подарочек — мишку какого-нибудь, конфеты... Скарлатина. Да, не сладко» [2, 79—81]. Такое отношение к женщине и ее малолетней дочери скорее свидетельствует о серьезности чувств и намерений Фрола, а не о желании подвести традиционный «производственный роман» к столь же традиционному адюльтеру...

«Негероический» герой, малопривлекательные трудовые будни, унылое, словно по инерции, бытование в опостылевшей семье, тусклый досуг (в основном доминошный «козел» по вечерам во дворе), ощущение безысходности и тоски... И все равно герой «Подки-

дыша» остается живым, надеющимся в глубине души на перемены к лучшему, *советским* человеком, если традиционно определять советскость как осознанный коллективизм и духовную стойкость. А иначе зачем тогда упираться? Зачем без реальной личной выгоды реанимировать «подкидыша», зачем согревать себя робкой надеждой на личное счастье с любимой, такой же одинокой и обездоленной, как ты сам, женщиной? И что до того, что советский мир стронулся с привычных координат и, скрежеща на сочленениях, пытается развернуться на сто восемьдесят градусов и пристроиться в кильватер пресловутого и мало кому в Отечестве понятного «общемирового развития»? Что из того, что для молодых товарищей Фрола работа — уже не более чем необходимость зарабатывать деньги, что даже такой же, как Фрол Горчаков, работяга-фронтовик Федор-маленький старается, как может, улучшить свою статусность и, как следствие, материальное положение. Это — их выбор, их путь, Фролу принципиально заказанный. Его несформулированное, больше душой ощущаемое жизненное кредо: перемены к лучшему — для всех! «У заводских ворот наскоро сколотили трибуну, и теперь за столом под красным сукном на возвышении сидели директор завода Груздев, парторг, несколько начальников цехов и еще кто-то — видимо, от горкома <...> На трибуне говорил уже кто-то новый. Ба, Федор-маленький! Он говорил хорошо, Слушали. Он говорил что-то против войны. “Ай да Федя!”», — думал Фрол. Кончил Федор. Ему хлопали дружно. За Федором выступил еще только один оратор — парторг цеха шасси. — ...Все, как один! — так закончил он свое выступление. Все подняли руку. И Фрол поднял руку» [2, 80—81]...

Тотально подконтрольная власти социология не могла (да во многом еще и не умела) должным образом отобразить инициированный «оттепелью» трудный, противоречивый, идейно расколовший страну процесс либерализации и демократизации общества и связанных с этим «смены вех». Социологизированная проза (прежде всего, опубликованная в журнале «Новый мир»), на наш взгляд, преуспела больше в плане честного, объективного отображения социальной реальности, в отражении трансформирующейся массовой психологии советских людей. В этом мы могли убедиться на примере рассказа «Подкидыш», в еще большей мере — на примере своеобразной морской дилогии: рассказа «На китобойце» и романа «Три минуты молчания».

«Гарпунеру китобойного судна “Стойкий” Кабальникову в конце января выпала редкая удача: двумя выстрелами из пушки он загарпунил старого кашалота, в кишечнике которого была обнаружена амбра весом более ста килограммов. Та самая амбра, которая идет на изготовление духов и ценится дороже золота». Так начинается рассказ Евгения Кондратьева «На китобойце», опубликованный в журнале «Новый мир» (№5, 1963).

Зачин, как видим, предоставляет при дальнейших творческих решениях самые широкие сюжетно-фабульные возможности и практически неограниченное жанровое разнообразие. Нетрудно представить себе какую лихую историю «закрутил» бы на этом материале современный умелец триллеров и детективов. Но не то у Е. Кондратьева: он предлагает, пожалуй, самую по нынешним меркам «нечитабельную» у массовой аудитории версию текста — под-

робное и временами даже нудноватое повествование о новичке в среде профессиональных китобоев, скорее даже не художественный рассказ, а очерковый отчет не столько писателя, сколько журналиста об экспедиции за китами.

Подробное, шаг за шагом изложение мельчайших подробностей трудового процесса, быта, всевозможных взаимоотношений китобоев (между собой по горизонтали, между собой и корабельным начальством по вертикали, между собой и плавбазой, между собой и большой землей и т.п.) как бы приобщает читателя к трудному, но одновременно и романтически-экзотическому виду деятельности — китобойному промыслу, служит одновременно и букварем экзотической профессии, и ее малой энциклопедией. Подспудно у читателя еще раз утверждается мысль, что «не боги горшки обжигают»: если уж ничего не смыслящий в китобойном промысле горожанин-литератор после экспедиции в арктические высоты ощущает себя чуть ли не морским волком, то крепкому рукастому мужику сей труд тем более не заказан. Таким образом, рассказ не просто расширяет горизонт знаний читателя, знакомит его с экзотической средой, но, подспудно раскрепощает его, добавляет уверенности в себе, в своих силах и возможностях, делает в итоге чуточку внутренне более мобильным. Таковой нам видится главная социальная задача исследуемого текста.

Еще раз акцентируем социально-временной контекст — «оттепельные» шестидесятые. В числе упреков «сталинскому тоталитаризму»<sup>44</sup> чаще многих

---

<sup>44</sup> Мы поместили в кавычки это определение, ибо лишь отчасти согласны с ним. Тоталитаризм в определенные периоды правления Сталина, действительно, имел место в общественно-



иных предъясняется чрезмерная закрепощенность советского населения, в первую очередь — сельского. Действительно, волевыми действиями административных органов тогдашние колхозники были лишены паспортов, что в условиях жестко исполнявшейся обязательной регистрации по месту проживания (прописки) делало их фактически неподъемными, на всю жизнь приписанными к своим колхозам. С этим, кстати, во многом связано и умиляющее некоторых соотечественников горячее стремление сельской молодежи отправиться на службу в армию. Стремление, вовсе не столь бескорыстное, как хотят представить его сейчас, по прошествии десятилетий, некоторые стойкие приверженцы советской власти. Ларчик открывался просто: лишь при демобилиза-

---

политическом сегменте государственного управления. Несмотря на одну из самых демократических по форме «сталинскую» Конституцию СССР 1936 г., страна была фактически лишена политических свобод, права личности были подчинены интересам общественного развития, каким развитие это видело тогдашнее политическое руководство. При этом уровень экономической свободы был несравненно более высоким, нежели в последующие «оттепельные» годы. Кооперативное движение не просто допускалось сталинской администрацией, но поощрялось и развивалось. Артели, даже частные производители (держатели патента) составляли в экономической статистике страны, особенно в первые послевоенные годы, хоть и ограниченный, но реальный процент. Тенденция на полное огосударствление экономики началась с Н. Хрущева и продолжилась вплоть до горбачевской перестройки, когда, увы, лишь на недолгий период бурно и суматошно возродилась производственная, сбытовая, посредническая и т.д. кооперация. Кто знает, достань тогда у политического руководства страны воли удержать экономическую ситуацию от анархии, поддержать, оздоровить кооперативное движение, социально ответственно провести разгосударствление и приватизацию, в какой стране довелось бы нам тепер жить...

ции сельский парень имел возможность получить на руки полновесный паспорт и далее строить свою судьбу по собственному усмотрению.

Раскрепощение отдельной личности, ее повышенная мобильность были в те времена начавшихся перемен не просто желательны в плане улучшения психологического самочувствия граждан пришедшей в движение страны. Они были необходимы и в утилитарном плане, как главные условия для осуществления намечавшегося в стране очередного освоения (покорения) Сибири, Дальнего Востока, целинных и залежных земель. Предсказание М.В. Ломоносова о том, что «богатства России будут Сибирью прирастать» в те годы стало одним из самых распространенных программных лозунгов.

Осознавала ли себя тогдашняя социологизированная проза в какой-то мере ангажированной временем перемен, а то и прямыми указаниями пропагандистского аппарата? Трудно сейчас, по прошествии бурных, судьбоносных для страны десятилетий утверждать что-либо безусловное в этом отношении. Внимательно вчитавшись в текст новомировского рассказа «На китобойце», мы все же склонны предположить, что некий *социальный заказ* имел место быть. Хотя возможно и иное: уловленное автором (наша интерпретация и дополнение Юнга!) **коллективное социальное бессознательное**. Такое случается в периоды истинного единения нации...

Шесть лет, отделявшие публикацию на страницах «Нового мира» рассказа «На китобойце» и романа Георгия Владимова «Три минуты молчания» («Новый мир». 1969, №7—9), существенно изменили общественно-политическую и социально-

экономическую ситуацию в стране. Во многом изжились в серых буднях благие реформаторские планы. Потускнели надежды на обновление общественной жизни. Разочарование от неудавшихся коллективных усилий направить в сторону мирового мэйнстрима социально-политическое развитие страны откликнулось возрастанием в советском социуме индивидуалистических и даже эгоистических устремлений. Декларация Н. Хрущева о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», для чего лишь надобно за два десятилетия создать его (коммунизма) материально-техническую базу, декларация, которая поначалу была воспринята с энтузиазмом, уже к концу 60-х, когда окончательно стала ясна ее ни на чем не основанная прожектерская суть, воспринималась не иначе как откровенная глупость большинством населения нелюбимого лидера, вызывала в ответ не былой прилив энтузиазма, а глухое раздражение, досаду и способствовала возрастанию циничных эгоистических установок и соответствующего поведения разочарованного индивидуума. Стало почти что фольклором неоднократно прозвучавшее с киноэкрана (пока еще из уст так называемых «отрицательных» героев!) программное заявление о том, что «я построю свой (для себя, своей семьи, своих детей и внуков) *персональный коммунизм*, чего бы мне это ни стоило».

Первыми эту тенденцию чутко уловили и в меру цензурных возможностей отразили отечественная литература и искусство. Одним из самых ярких и состоятельных в художественном и публицистическом отношении феноменов «новой прозы» стал роман «Три минуты молчания».

Анонимный герой его (повествование ведется от первого лица, как бы от авторского «Я») практически противоположен такому же анонимному герою рассказа «На китобойце». Все усилия последнего были направлены на то, чтобы как можно плотнее встроить себя в коллектив китовых промысловиков, стать, как все. Герой Г. Владимова — матрос рыболовецкого траулера, за нынешней социальной ролью которого, однако, предугадывается, *предошущается* какая-то иная, не исключено, что даже интеллигентская предыстория, — с первых страниц текста заявлен вполне сложившимся, лишенным сантиментов одиноким «морским волком». И причина, по которой он уходит в очередной промысловый рейс, совсем не возвышенно-романтическая, а скорее досадно-курьезная: получив расчет за предыдущие скитания по океану и обдумывая поездку в курортный рай к теплому морю, он как бы мимоходом оказывается в «теплой компании» с девицами, где в пьяном угаре за короткое время спускает практически всю таким трудом доставшуюся ему наличность. А что делать без денег в мирском (социальном) раю?..

Жизнь на океаническом промысле: плановые и авральные вахты у трала, долгие часы, проведенные за конвейером первичной переработки рыбного улова, у штурвала, на уборке палубы, столь желанный отдых в тесных матросских каютах, трапезы в кубрике, разговоры обо всем и ни о чем, коалиции на один рейс, зарождение настоящей дружбы, любовное приключение на плавбазе с тамошней буфетчицей, которое инициировало зарождение серьезного чувства, — все это незамысловатое однообразное многообразие открыло массовому читателю новый

мир — внешне грубый, временами граничащий с уголовщиной, маняще загадочный, пугающий, отталкивающий, притягивающий — мир настоящих мужчин, делающих себя и свою судьбу, а иногда и ломающих их через колено. С журнальных страниц, быть может, впервые за долгие годы советского вынужденного умолчания жизненной правды, предстали во всей полноте рельефно вылепленных характеров люди, надеющиеся, в первую очередь, на себя, на свои руки, свое умение, свое профессиональное мастерство, свой жизненный опыт, способность вовремя различить союзников и недругов, приветить первых, жестко, безжалостно нейтрализовать вторых, люди, *умеющие зарабатывать деньги* и знающие им истинную цену. По сути — первое поколение советских self-made<sup>45</sup>...

Чрезвычайно важен в идейно-образном понимании романа формально вставной эпизод **Легенда о «Летучем голландце»** (северный вариант).

В нем рассказывается о том, как некий добросовестный, хорошо проявивший себя в рыбацком труде моряк, проплавав с командой на СРТ (средний рыболовецкий траулер) стандартный полугодовой срок, на обратном пути в порт приписки вдруг выразил желание пересечь на встречный, направляющийся на промысел корабль и таким образом еще на полгода добровольно продолжил свое морское заточение. И так повторялось пять (!) раз. Повторилось бы и в шестой, да по флоту вышло распоряжение идущим на промысел кораблям держаться вне види-

---

<sup>45</sup> Человек, «сделавший» (в социальном плане) себя сам (англ.).

мости возвращающегося в порт сейнера с «Летучим голландцем», ибо отказать хорошему рыбаку в его праве на труд оснований не было, но и платить ему в несколько раз больше, чем капитану, стало уже разорительным.

Той суммы денег, которая «набежала» «Летучему голландцу» со всеми полагающимися надбавками и коэффициентами за 2,5 года непрерывной работы в океане, в кассе пароходства не оказалось. Пришлось ему в сопровождении специально выделенных милиционеров проследовать в банк. «Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, носки, свитера, белье» [27, 74]. Из банка его прямоком доставили на железнодорожный вокзал, посадили на «Северную стрелу» и больше его на промысле никто никогда не видел. Оказалось (а иначе какая же легенда?!), что за два с половиной года никто из его товарищей по промыслу так и не узнал, откуда он, кем был до вербовки на рыболовецкий флот, есть ли у него семья, дети и т.д. Появился ниоткуда и в никуда канул.

«Если подумать, ведь он эти деньги что в тюрьме отсидел, а ради чего? — попытался понять мотивацию “Летучего голландца” герой романа. — Если из-за женщины, то кто бы его ждал так долго? <...> Может, он дом себе хотел отгрохать со всем хозяйством, и это можно выколотить, и не такой ценой <...> Я вот часто думал о нем и никак его не постигну. Но одно знаю: мне таким не быть — это точно» [27, 74].

Да, нашему герою, так же, как и большинству его сверстников из сурового поколения «детей войны»,

стяжателем не стать. Но и романтический энтузиазм, готовность отцов и старших братьев к самопожертвованию их тоже больше не соблазнит. Их удел — смешавшееся сознание, микст в душе из умеренной патриархально-патриотической, традиционной для их народа нравственности, и умеренного же цинизма. Плюс к тому — сомнения, шатания из стороны в сторону, причем в основном из крайности в крайность, смутная обида на судьбу, поместившую тебя в такое неустойчивое, ненадежное, как спасательная шлюпка в шторм, время, раздражение, тревога и в конце концов преждевременная духовная и социальная усталость, как правило, ведущая к социальному эскапизму.

Наши предки состав подобных «промежуточных» поколений и генераций называли «греческими человечками». Вот как определяет «греческих человечков» наш гениальный философ, «русский Леонардо» о. Павел Флоренский в работе «Обратная перспектива», которую, убеждены, по влиянию на процесс осмысления художественного творчества вполне возможно соотнести с «Поэтикой» Аристотеля или, скажем, «Рождением трагедии из звуков музыки» Ф. Ницше: «Жизнь, удаляясь от глубинных истоков своих, течет мелкими водами легкого эпикуреизма, в атмосфере легковесной буржуазности греческих человечков — *graeciorum*, как их называли современные им римляне, человечков, лишившихся ноуменальной глубины греческого гения и не успевших приобрести величественного размаха, вселенской по охвату морально-политической мысли римского народа» [122, 45].

Что до «легкого эпикуреизма» и «атмосферы легковесной буржуазности», так это не про нашего героя и ему подобных. Буржуазность и эпикуреизм в

реально значимой распространенности придут в жизнь наиболее ушлых, хватистых соотечественников наших позже, в так называемый «период застоя». Пока же (конец 60-х) и они — грядущие подпольные советские буржуи — лишь вынуждены скрытно мечтать об обществе потребления и рискованной фарцовкой, еще более рискованными (до расстрельных статей УК!) валютными и «цеховыми» операциями приближать, как бы «резервировать» это общество лично для себя.

Как справедливо заметит позже и по другому поводу о писателе Владимове литературный критик А. Немзер: «Георгий Владимов всегда знает о своих персонажах ВСЕ. В том числе их будущее» [82, 87].

Что касается героя «Трех минут молчания», то будущая его судьба — оставаться в безвременье, когда «вчера» твоей страны раскритиковано и подвергнуто остракизму с позиций абстрактного гуманизма, который никаким образом тебя, человека толпы, не согревает, «сегодня» лживо и убого, а «завтра», как производное от малопривлекательных «сегодня» и «вчера», даже по логике вещей не сулит иного — путного и достойного качества жизни.

Американская писательница Гертруда Старн назвала выживших ветеранов Первой мировой войны из западных стран «потерянным поколением». Определение это прижилось и стало использоваться в расширенном смысле. Считаем, вполне можно применить его и в отношении нашего героя...

«Не знаю, куда уходили бичи<sup>46</sup>, где там над ними закачаются звездочки. Я и прощался с ними, и не

---

<sup>46</sup> Вслед за В. Аксеновым («Затоваренная бочкотара») Г. Владимов ввел в литературный оборот термин «бич»: от англ. «beach» — пляж, берег. *To be on the beach* — быть на мели;



процался — через неделю и мы вот так же уйдем: стране ведь нужна рыба» [27, 95]. Финал романа поразительно схож с финалом рассказа «Подкидыш». В обоих случаях завершен производственный и жизненный, личностный для главных героев повествования цикл. Мотивацию начать цикл следующий для героя «Подкидыша» определяет фраза: «Его ждала работа». Для героя «Трех минут молчания» — фраза по сути адекватная: «... стране ведь нужна рыба». Только *интонация* этих сущностным образом схожих фраз, если должным образом учесть контексты, разнится до чрезвычайности: в первом случае («Подкидыш») финальная фраза отражает серьезное, уважительное отношение истинно рабочего человека к своему труду. Во втором случае («Три минуты молчания») мы имеем дело с почти откровенной усмешкой, ухмылкой, парадоксом множество раз использованного «производственного штампа», ерничаньем, *постмодерном*, одним словом... А ведь дистанция между этими текстами — менее десятилетия...

И о названии романа...

---

близкий по значению нынешнему — «бомж». Так в литературном тексте был окончательно зафиксирован не просто термин, но малопривлекательное *социальное явление*, которое серьезно корректировало благостную картину советского общества, создаваемую партократической пропагандой. Термин «бич» в контексте романа «Три минуты молчания» стал отнюдь не единственным экзотическим пополнением лексического словаря советской литературы. Характерно, что, получив в качестве откликов на роман Г. Владимова обширную читательскую почту, в частности, по поводу использования в нем автором «сомнительной лексики», редакция «Нового мира» вскоре по окончании публикации романа организовала на страницах журнала обмен мнениями, который вылился в жаркую дискуссию.

По устоявшейся традиции каждый день в определенное время все находящиеся в Мировом океане суда прекращают на три минуты сеансы радиосвязи и судовые радисты все эти 180 томительно долгих секунд напряженно вслушиваются в замерший радиоэфир, силясь различить и запеленговать пусть самый слабый, едва слышимый сигнал SOS («Спасите наши души»). Нетрудно понять, что и Г. Владимов своим романом «Три минуты молчания» откровенно, почти с публицистической определенностью призывает своих читателей вслушаться в океан реальной советской жизни, чтобы поверх бравурной музыки официальных победных реляций, пропагандистской меди и барабанного треска различить слабые сигналы нашего социального неблагополучия. Как там **на самом деле**, в «датском королевстве»? Так ли, как убеждает нас и весь остальной мир коммунистическая партийная пропаганда, безмерно счастливы наши соотечественники, шагающие в ногу и стройными рядами в единой необозримой колонне?.. Если учесть, что роман вышел в свет ровно через год после силового подавления Советским Союзом и его союзниками по Варшавскому договору Пражской весны, провозгласившей целью стремление к «социализму с человеческим лицом», то латентный призыв критически настроенного к советской реальности писателя следует признать особо актуальным и своевременным...

\* \* \*

Социологизированная проза, как можно убедиться на примере проанализированных нами рассказов Ю. Аракчеева «Подкидыш», Е. Кондратьева «На китобойце» и романа Г. Владимова «Три мину-

ты молчания», способна поведать о теме (в данном случае теме рабочего класса в Советском Союзе) не менее содержательно и детально, чем современное ей социологическое исследование. И сделать это в многообразии социальной фактографии и психологических нюансов. К тому же социологический очерк обладает большей, чем конкретное социологическое исследование, возможностью проверки достоверности исследуемого материала, в первую очередь, посредством постоянного авторского контроля, который (контроль) в обширных долговременных социологических исследованиях зачастую размыт и деперсонифицирован.

Множество графиков, таблиц, схем сопровождают уже упомянутые нами выше социологические исследования «Время и труд» (1964), «Рабочий класс и технический прогресс» (1967), «Человек и его работа» (1967) и др. В принципе весь этот огромный конкретный материал, добытый, систематизированный и проанализированный десятками ученых, в виде художественной метафоры компактно «уложился» творческими усилиями одного социального писателя в небольшом — десяток журнальных страниц — рассказе («Подкидыш»), который дополняет, расцвечивает поливалентностью художественных образов отнюдь не безусловную статистико-социологическую цифирь и выводы социологов. Нет сомнения, **без социального очерка и социологизированной художественной прозы наши представления о социальных процессах как минимум были бы крайне неполны и лишены многомерной выпуклости психологизма.** Это относится к ситуации 60-х гг. минувшего века, но справедливо и в принципе.

## 6.2. Тот же ландшафт с точки зрения социолога

Особенно это справедливо в случае, когда социологи (В. Ольшанский, В. Шубкин, В. Ядов и др.) берутся исследовать наиболее близкую писателям сферу взаимоотношения личности и общества, стремясь в итоге выразить любую свою качественную оценку цифрой, статистическим рядом. Как показала практика, в этом случае без привлечения журналистских, писательских методов сбора и анализа материала итоговая картина не может стать не только полной, но, что гораздо важнее, — объективной.

Не случайно аспирант В. Ольшанский долго работал *incognito* слесарем-монтажником на том самом предприятии, где проводил обследование. В социологии метод этот называется погружением. Как справедливо заметил уже известный нам писатель и социолог Вл. Канторович, «Этот вполне писательский прием позволил ему проиллюстрировать свои цифровые итоги самыми убедительными примерами. Так, автор рассказал о крушении авторитета бригады, состоявшей, в сущности, из отличных ребят, к тому же студентов вечерней и заочной форм обучения. Но бригаде этой, вдобавок к действительным достижениям, администрация приписывала достижения несуществующие: ее настойчиво восхваляли в многотиражке, по радио, бригадира постоянно выдвигали на почетные общественные посты, необоснованно противопоставляя другим работникам коллектива. Рабочие стали относиться резко отрицательно к «высочкам», «подхалимам», «хвастунам» (так звали их между собой). По социометрическому ан-

кетированию (с кем бы вы хотели работать?) члены бригады нахватили 209 черных шаров из 237 возможных, а при первом удобном случае бригадира, выдвинутого на очередной общественный пост, единодушно забаллотировали» [46, 1].

А как еще *помимо вполне писательского приема* личного **анонимного авторского контроля** за объектом и персоналиями исследования можно было обнаружить недобросовестность администрации, которая, стремясь в наилучшем виде представить свое предприятие, выбранное в качестве объекта социологического исследования, не остановилась ради достижения этой цели даже перед подлогом и передергиванием фактов?

«Путем анкетирования», — продвигу ответ. Но, как справедливо считает все тот же Вл. Канторович: «Отвечающий на анкету часто в какой-то мере играет роль “на публику” — социологи поэтому обращаются к теории “ролей” и стараются отметить, в какой мере идентифицируются в обследуемом методом анкетирования человеке представление о своей роли и объективное поведение» [47, 167].

Введение дополнительного индикатора с целью уяснения степени объективности поведения исследуемой персоналии с неизбежностью усложняет расчеты, приводит к необходимости учитывать дробные коэффициенты, что мы и наблюдаем в проводимом В. Ольшанским исследовании. Решив ранжировать восемь выбранных им членов бригады по степени проявленной к ним симпатии сослуживцев, В. Ольшанский проводит соответствующее анкетирование и получает «положительные коэффициенты», выраженные в математическом значении, близком, в том

числе, и к «статистической погрешности»<sup>47</sup>: +0,82; (+0,66; +0,64!); +0,47 и т.д.

«Все-таки массовый анонимный опрос-интервью, хорошо подготовленный, проконтролированный разными “объективными” способами, доступными социологу, *имеет безусловное познавательное значение* (курсив мой. — Авт.)», — заключает вдохновленный социологией писатель [46, 167.]. Но — не более того, добавим от себя.

Остановимся еще на одном вопросе распространенной В. Ольшанским анкеты: «Что бы вы приобрели, если бы у вас появились свободные деньги?». Ответы приведены в табл. 6.

Таблица 6

**Ответы на вопрос анкеты:  
«Что бы вы купили на свободные деньги?»**

<i>Вид покупки на свободные деньги</i>	<i>% от опрошенных</i>
Продукты питания и одежда	11,25
Квартира, обстановка, бытовые приборы	24,50
Книги, культтовары, музыкальные инструменты	12,25
Туристическая путевка (по СССР или за границу)	9,75
Автомобиль, мотоцикл, мотороллер	10,50
Подарок родственникам или друзьям	4,75
Возможность не работать	1,00
Свободных денег нет, и не предвидится	6,00
Прочие ответы	3,00
Не ответили	17,00
<b>Итого</b>	<b>100,00</b>

Приведенные цифры говорят о сравнительно высоком жизненном уровне молодых рабочих, делает

<sup>47</sup> Помещены в скобки.

основной вывод социолог, для большей убедительности своего вывода не просто считывает, но и дифференцирует приведенные в таблице ответы. Так, о приобретении предметов первой необходимости (питание, одежда) думают только 11,25 % опрошенных, причем о продуктах питания написали только 0,5 % респондентов, а указывая предметы одежды, многие из них подчеркивали, что речь идет уже не о самом необходимом (хороший костюм, красивое платье, модные туфли и т.д.). С другой стороны, 10,5 % хотят приобрести личный транспорт, причем 9 % не согласны ни на что меньшее, чем на собственный автомобиль. Только 5 % истратили бы деньги на улучшение жилищных условий, а 19,5 % мечтают купить мебель, холодильник, стиральную машину и т.д. Характерно, что о книгах, культурных товарах и музыкальных инструментах опрашиваемые рабочие пишут больше, чем о питании и одежде. И лишь 1 % опрашиваемых рассматривает деньги как средство избавления от труда, причем и эти люди оговариваются, что они понимают возможность не работать как увеличение времени для учебы или для любимого вида творчества.

На наш взгляд, приведенные в табл. 6 данные и сделанные на их основе выводы соответствовали не столько реалиям жизни в Советском Союзе городских промышленных рабочих, сколько отражали во многом созданные советской пропагандой мифологизированные представления об исследуемом предмете. Как, скажем, можно согласиться с тем, что в городе предельно обостренного «жилищного вопроса» только 5 % респондентов готовы истратить деньги на улучшение жилищных условий?! Что лишь 1 %

рассматривают деньги в качестве средства избавления от труда, тотчас «подстраховывая» себя вполне лояльным пояснением: мол, избавление это им необходимо для учебы или занятий творчеством?.. Скорее всего, мы имеем дело со своеобразной формой социологической интерпретации термина «социалистический реализм», как понимали его основоположники этого направления: описывать жизнь надобно не столько такой, как она есть, сколько каковой она *должна* быть...

Думается, по меньшей мере, два обстоятельства подвигли респондентов ответить на анкеты зафиксированным в таблице образом:

а) страх или хотя бы опасение сделать не то, чего хотят от тебя власти (в реальную анонимность подобного рода опросов, выборных компаний и т.д. советские люди не верили к тому времени давно и основательно);

б) вполне объяснимое стремление, особенно у молодежи, представить свою жизнь в большей мере изобильной, материально обеспеченной и интересной, чем она являлась на самом деле.

Казалось бы, парадокс: научная социологическая методология исследования, основывающаяся на обширной статистике и полученных в ходе самого исследования материалах на проверку оказывается более уязвимой в отношении объективности итоговых выводов, нежели результат изначально субъективного литературного творчества, очерково-документального и даже художественного!

На самом деле, разобравшись в причинах такого положения дел, мы убеждаемся, что никакого парадокса нет. Имеют место **социально-политические**



**искажения** методики проводимых исследований, настойчивое требование власти к ученым в удобной ей форме «скорректировать» итоговые выводы, наблюдается, увы, не столь редко проявляющаяся в научном сообществе встречающаяся готовность услужить власть предержащим, в том числе и в ущерб научной чистоте исследования. При этом было бы ошибкой отнести эти искажения целиком к советской социологии: всякая власть, и не только тоталитарная, но и демократическим образом избранная и в общественном мнении считающаяся таковой, желает видеть себя в улучшенном, приукрашенном социальной парфюмерией виде.

**Отношение к труду**, которое является магистральной, сквозной темой нашего исследования, тесно связано с нормами этики, принятыми в обществе, с той мерой свободы, которая фактически утвердилась в нем при публичном обсуждении и научном исследовании этого предмета.

**Рабочий быт** — часть этой обширной комплексной темы. Исследовать его взялся С. Струмилин в статье «Рабочий быт и коммунизм» [116], которая интересна нам как еще один аргумент в предпринятом нами сравнительном анализе литературных и научных социологий.

Признаемся, заголовок этой работы дезориентировал нас. Какой по карточке в библиотечном каталоге представлялась нам статья под таким заглавием? Прежде всего — собственно о рабочем быте. Реальном быте советских рабочих начала 60-х гг.

В Советском Союзе только-только немного смягчился очередной мобилизационный период, связанный с восстановлением разрушенного в Великой От-

ечественной войне народного хозяйства. Прошедшие XX и XXI съезды КПСС публично осудили культ личности И.В. Сталина, призвали к восстановлению «ленинских норм демократии». Началось массовое строительство пятиэтажных «хрущоб», в связи с чем возникла реальная надежда на пусть не скорое, но постепенное, но расселение коммунальных квартир. Публично (!) подвергнут остракизму роман С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и, тем самым косвенно, — позорная практика угодничества писателей перед партократическим режимом. Общественным событием стал вечер поэзии в Политехническом музее, на котором читали стихи молодые, подающие надежды поэты: А. Вознесенский, А. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, Б. Окуджава и др. Преодолено длившееся десятилетия малокартинье, советский кинематограф совершил огромный количественный и качественный скачок, позволивший ему занять лидирующие позиции в мире... Шестидесятые — время надежд, но и время явственно обозначившихся проблем, требующих скорейшего решения.

Их бы выявить, описать и поставить перед обществом, государственной властью маститому академику в разрезе заявленной им темы рабочего быта. Ничуть не бывало! Вот какими видит задачи своих «заметок» (определение автора. — *Авт.*) академик С. Струмилин:

«Хочется знать, что нового принесет с собой коммунизм в отношениях людей к семье и собственности. Что останется от таких элементов нашего быта, как браки и разводы? <...> В каких формах будет сталкиваться сознание коллективизма с пережитками

индивидуализма в семье и в общении людей? В каких сочетаниях личных и социальных инстинктов, воспитанных “условных рефлексов” общественного бытия сложится та новая мораль, которая исключит собой за ненадобностью все предписания закона и формы принуждения? Хотелось бы предугадать даже типы архитектурных ансамблей, достойных стать жилищной базой для больших коллективов трудящихся, какие можно будет назвать трудовыми и бытовыми коммунами» [115, 203].

Что напоминает эта установка? Конечно же, мечтания милых гоголевских помещиков, маниловщину почти что в чистом виде.

Под стать задаче «научные» откровения автора: «В каком же виде представляется <...> бытовая коммуна? Можно мыслить себе такие бытовые коммуны в каждом большом доме, организованные по типу нынешних здравниц или гостиниц, с общественным питанием и полным обслуживанием всех живущих там семей. Возможно, что для этой цели будут сооружены комбинаты, в которых такие дома или дворцы-коммуны окружают центральное производственное предприятие, где работают все жители этих коммун. Очевидно, что для каждой бытовой коммуны потребуется целый комплекс обслуживающих ее коллективов или подсобных трудовых коммун — учебного, лечебного, пищевого и прочих назначений. И тогда такие комплексные коммуны в больших городах образуют собой микрорайоны, и жители смогут здесь удовлетворить все свои повседневные и культурные нужды» [115, 213].

Ознакомимся с расчетами (временными и материальными) академика-социолога: «Вполне приемле-

мая бытовая коммуна, даже без всяких излишеств, потребовала бы на 2–2,5 тыс. душ по нынешним ценам около 50 млн руб. вложений; на все население Советского Союза пришлось бы затратить до 5 трлн руб. **И потому даже через 15 лет, когда мы будем раз в пять богаче и давно обгоним США, на осуществление такой программы бытового строительства потребуется еще пять – десять лет»** (выделено мной. — *Авт.*) [115, 213–214].

Уровень футурологии ясен и не требует комментариев. Но каким видит автор не «скорый», по его предположениям, коммунистический рай, а современную ему явь 60-х гг.? Как можем убедиться, весьма радужной.

«В советских условиях особенно заметно, как облегчается судьба работницы-женщины: она может работать на одном заводе, муж — на другом, питаться обоим можно и в общественной столовой, а детей воспитывать в яслях, детских садах, школах-интернатах. Непропорционально большой дополнительной *хозяйственной* нагрузки в таком быту от женщины по сравнению с мужчиной не потребуются. И тем больше времени у них остается и для труда, и для культурного роста, и для семейных радостей» [115, 206].

И так — на протяжении всего многостраничного текста. При полном отсутствии ссылок на какие-либо социологические исследования, на статистику (за исключением сравнений с 1913 г.!), при полном отсутствии ответственности ученого за качественный результат своего труда.

И в то же время на тех же новомировских страницах, скажем, героиня рассказа «Подкидыш» рабо-

чий Фрол Горчаков и кладовщица мать-одиночка Соня больно рвут бока об наждак реальной жизни, продираясь, стиснув зубы, не к возведенным фантазиями академика С. Струмилина коммунистическим фаланстерам, заселенным фантомами идеального представления о рабочем человеке, а к реальным решениям своих реальных, таких неказистых проблем. Можно ли сомневаться, кто из них окажется ближе, милее читателю...

Подобного рода социальной «футурологии» оказалось — будем откровенны! — с избытком в науке об обществе обновленческих 60-х гг. В конце-концов, сам глава государства Н. Хрущев возжелал лавров социального прогнозиста и конструктора и ничтоже сумняшеся объявил о скором (всего через два десятилетия) наступлении в стране коммунизма. И такая избыточная доза социального наркотика, «веселящего газа», сыграла свою убаюкивающую роль. Коль завтра для всех грянет отмена презренных денег и переезд в дворцы-коммуны, стоит ли сегодня упираться для облегчения своей (своей семьи, своих детей, своих внуков) мирской участи? Тем более если такой настрой всячески поощряется властной пропагандой.

Но никому не дано повернуть вспять колесо истории. Наркоз, в том числе и социальный, — явление временное. За ним неизменно следуют пробуждение, прояснение сознания, окончательное отрезвление и серьезные выводы. Пускай не глобальные, не для всего человечества, а локальные, только для себя одного, но от этого не становящиеся менее значимыми для пробудившего сознание человека.

Целенаправленное воспитание (начиная с детского сада) самоограничения в потреблении, пренебре-

жительного отношения и даже некоторого презрения к материальному, постоянная пропаганда бескорыстия, приоритета общего над личным и т.п. создали в Советском Союзе периода тоталитаризма соответствующий тип «советского бессребреника», который достижение морального удовлетворения от труда действительно ставил выше материального благополучия и связанного с этим комплекса потребительских возможностей. Те, кто мыслил иначе, были вынуждены, затаившись, внешне принять не только установленные государством правила социального бытования, но и должные идейные установки.

60-е «оттепельные» годы с их возросшей свободой слова, с пускай частичным, но все же изживанием страха перед властью, с поднятием (опять же частичным) «железного занавеса», по ту сторону которого в реальности оказался явленный нам не столько «звериный оскал капитализма», сколько вполне социально сбалансированное общественно-государственное жизнеустройство, 60-е — годы начавшихся реформ и во многом так и не сбывшихся надежд стали еще и своеобразным водоразделом между вынужденным идеализмом всеобщей советской бедности и пока еще робко, но все же заявившим о себе из подполья прагматизмом индивидуальных соискателей достатка. Можно утверждать, что излишне импульсивное, непоследовательное, крикливое, но в массе своей и пугливое, по-отрочески робкое поколение 60-х в конечном итоге породило прагматиков 70-х.

Пройдут годы, и водораздел этот промоется талыми весенними и дождевыми осенними потоками до состояния оврага. Своевременно укрепить края оврага так по-настоящему никто в стране нашей не

сподобится, потому что большинство граждан страны ждали перемен. В результате почти что сомнамбулического бездействия на рубеже веков и тысячелетий случится то, что случилось: сель, оползни, отлом инородческих окоемов от российского ядра и развал, уничтожение казавшегося несокрушимым монолитом<sup>48</sup> Советского Союза. Очередной в мировой истории социальный миф захлопнул последнюю исписанную страницу. Открылась новая, чистая, в новой книге для нового мифа. Кому писать его? Социологам и литераторам — это уж точно...

---

<sup>48</sup> Кстати, о монолите... Известный своей консервативной, охранительной в отношении советской ортодоксии позицией критик В.В. Ермилов, рецензируя впервые вышедшие в свет в «Новом мире» начала 60-х гг. мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» и ссылаясь при этом на конкретные примеры из рецензируемого текста, особо подчеркивал социально-политическую опасность предпринимаемых автором попыток *раскалывать монолит*. Тогда к этому предупреждению отнеслись с молчаливым пренебрежением: мол, Ермилов — «антикумир наших молодых лет!» (В. Лакшин). Да и рассказывать монолит «сталинского тоталитаризма» (иных, естественных, скажем — атомарно-кристаллической структуры государственного устройства, — словно бы и не существовало) у «продвинутых» интеллектуалов той поры считалось благим делом.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Камо грядеши? или Гипертекст будущей гиперсоциологии

«Итак, наблюдения над прошлым в сопоставлении с настоящим, чтобы выяснить возможности продолжения изменений в будущем» [69, 170]. Это определение академика Д. Лихачева, на наш взгляд, как нельзя лучше формулирует магистральную задачу нашего исследования.

До сих пор в предпринятом нами экскурсе к истокам русских социологий мы следовали, в основном, по маршруту «социология — литература». Стремись выявить, проанализировать и описать в феномене социологического исследования генетические коды отечественного физиологического очерка, вычислить при помощи модельного прогнозирования, а порой даже и предугадать формы использования социологией богатейшего опыта отечественной и мировой литературы. Теперь, для большей полноты



эксперимента, поменяем вектор и взглянем на ставший для нас уже привычным тандем с точки зрения литературной доминанты.

И сразу же, вслед за автором статьи «Правда о растерявшем правду времени» академиком Г.В. Осиповым, признаем: «Вся литература социальна! Вся и всегда! И британец лорд Байрон, и немецкий романтик Шиллер, и всяк наш отечественный лирик, скажем, тонкий деликатнейший Фет, социальны изначально, ибо реализуют своего лирического героя в сообществе, буквально пронизанном выраженными социальными связями и отношениями, как пронизана живая плоть кровеносными сосудами. И даже если нарочито спрячут своего лирического героя в лесную чащобу или пещеру в недоступной скале, и в таком случае у него останется ничем не отторжимый *социальный опыт* (вспомним отца Сергея Л.Н. Толстого), останется, в конце концов, *социальная память*, доставшаяся от предков и впаянная прямиком в генетический код.

Социальна сказка (откройте “Русские заветные сказки” А.Н. Афанасьева, сочинения Г.-Х. Андерсена и убедитесь в этом). Социален миф, где боги — те же люди, а отношения их, если вывести за скобки незначительные бытовые отличия, почти столь же “коммунальные” (А. Зиновьев), как и у наших современников. Социален даже регрессивный мутант Маугли, ибо мир зверей, в котором он сформировался и живет, сконструирован Киплингом как современная ему людская социальная реальность с легко узнаваемыми аллегориями значимых персонажей» [84, 5].

И снова слово академику Д. Лихачеву: «Социальная детерминированность литературы отнюдь

не уменьшается — она становится только все более и более сложной и опосредованной. В качестве аналогии укажу: прогресс в области развития живых организмов одной из своих сторон имеет усложнение организмов, достижение ими все более и более целесообразной и развитой организованности» [69, 175].

Мнения корифеев отечественной социологии и филологии по интересующему нас вопросу почти что тождественны. Оба, отмечая взаимную обусловленность литературы и социологии, обращают внимание также на активизировавшийся в последнее время процесс взаимообогащения этих научно-культурных феноменов.

А вот член-корреспондент РАН социолог В.Н. Иванов, сам давно и довольно активно вовлеченный в поэтическое творчество, пошел еще дальше и взялся изучать социологическим инструментарием столь любезную его сердцу поэзию. Результатом (хочется думать — еще только промежуточным) явился сборник материалов к курсу лекций «Социология и поэзия». «Нередко можно встретить утверждение, что поэзия самодостаточна, что цель поэзии — сама поэзия, — повторяет общераспространенное мнение В. Иванов и тотчас вступает с ним в полемику. — Мне представляется, что при более внимательном рассмотрении мы <...> можем увидеть “жилку социологическую”, т.е. вполне социологический подход к анализу жизни общества, образа жизни людей, увидеть социальные типы, характерные для той или иной исторической эпохи, мотивы поведения различных групп людей, их ценностную ориентацию и политические предпочтения» [39, 4].

Исследуя интересующую его тему в исторической ретроспекции, В.Н. Иванов указывает на ряд точно выделенных из массива отечественной поэзии аргументов, подтверждающих социальность значительного пласта поэзии: «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. “Энциклопедия русской жизни” — нет более высокой социологической оценки для любого произведения, как литературного, так и научного». Далее: «Ярчайшим воплощением социальной проблематики в поэзии являлось, бесспорно, творчество Н.А. Некрасова...» И, наконец: «Не вызывает сомнения, что термин “гражданская поэзия” близок к термину “социологическая”, являясь ее неотъемлемым элементом. **Социологическая лирика** (выделено мной. — *Авт.*) — это высшая ступень лирики гражданской» [39, 5–7].

С социологическим подходом В.Н. Иванова к поэтическому творчеству оказалась созвучна парадоксальная, эпатирующая поначалу рафинированных любителей поэзии реплика И. Тургенева о том, что «лучшими поэтами являются американцы, роющие Панамский канал». Вот какой эстетически изоциренный панегирик современному ему массовому **социально значимому труду** счел нужным произнести наш классик!

Проза документальная и, в определенной мере, художественная, и даже поэзия, выступающая в качестве *гражданской (социологической) лирики*, как мы смогли убедиться, проявляют, отражают, фиксируют *социологическую компоненту* времени, описывают проживающий в нем социум и возвращают в социум этот в виде очерков, повестей, романов, от-

дельных стихов и поэм промежуточные результаты социолитературных исследований.

Другое дело, что периодически в среде интеллектуалов раз за разом реанимируется миф о том, что роман, драматургия для театра, рассказ или даже вся литература в целом умерли, что мы наблюдаем не более чем их агонию. Что триумфальное шествие по миру визуальных искусств, и в частности аудиовизуальных систем (кино, телевидение на аналоговых и цифровых носителях, Интернет и т.п.), в самом скором времени окончательно водрузит над могилой изящной словесности и прочих литературных жанров большой тяжелый крест. Такие публичные пересуды в последнее время случаются столь часто, что впору, пожалуй, квалифицировать их как особую, изощренную форму интеллектуального мазохизма, ведь иницируют их и наиболее активно поддерживают... сами деятели литературы! Эти «шалости» совсем не столь безобидны, чтобы отмахнуться от них, как от назойливых мух. Замечено, что всякий катастрофизм, даже если, как в нашем случае, под ним нет никаких реальных оснований, негативно влияет на объект и процесс, определенные катастрофистами как находящиеся в глубоком непреодолимом кризисе. Волнение, смута, паника возникают поначалу в головах людей, в массовом сознании, и лишь затем, достигнув критического уровня, материализуются в стихию разрушительных действий. Вспомним: «Как корабль назовем, так он и поплывет»...

Вот как характеризует отечественную литературную ситуацию начала 90-х гг. прошедшего века известный критик и литературовед, тогдашний литера-

турный обозреватель «НГ» Андрей Немзер: «Судя по критическим разделам тех же самых ежемесячников, по первой тетрадке “Литературной газеты”, по материалам журналов, специальных и тем более общеполитических газет, никакой живой словесности в России не было. Шли толки о конце литературоцентризма. Кто-то печалился, а кто-то радовался в связи с “исчезновением литературного процесса”. Рецензировалось крайне малое количество текстов, а само занятие это едва ли не впрямую называлось бессмысленным» [79, 5].

Где теперь те горе-предсказатели? Как объяснят они нам нынешний книжный бум, выразившийся в переполненных полках книжных магазинов, в толпах книголюбителей на многочисленных ярмарках, в невиданном доселе в России количестве книжных наименований, которые выходят ежегодно?

И все же не будем суровы к очередным гробкопателям отечественной литературы. Более того, поблагодарим их (!) за пусть и чрезмерное, истерическое по форме, но все же охранительное по существу усердие; оно, усердие это, не дает нам, впад в опасное благодушие, просмотреть действительно надвигающийся кризис литературы. Как, впрочем, и кризис гуманитарных наук, в частности — обществоведения. Кризис гуманитарного мировоззрения явился следствием общего, системного и глобального кризиса: современного гуманизма, направления и содержания (парадигмы) гуманитарного развития, наконец, самого мироустройства... Социальный мир, столкнувшись с невиданными еще вызовами и проблемами, ждет от науки, литературы и искусств, от совокупного человеческого разума новых спаси-

тельных идей, способных примирить, привести к единому знаменателю раздирающие современный мир антагонизмы и все в большей мере теснящий альтруистические поползновения эгоизм, гармонизировать на качественно новом уровне жизнь людского сообщества.

Естественно предположить, что для адекватного отражения в целях опосредованного научного ли, художественного ли усвоения такого качественно обновленного социального мира глобального гиперчеловечества потребуются также принципиально новый, гармонизировавший, сбалансировавший основные формы и методы *отражения* гипертекст...

Наиболее изощренные умы, тонко чувствующие души, случается, прозревают в виде искорок озарения абрис идеи, некоторые принципы построения такого грядущего гипертекста. К числу таких провидцев можно отнести трагически погибшего на ночной улице Санкт-Петербурга молодого филолога, литературоведа, поэта Машука Жажояна, эвристические находки которого при жизни, увы, так и не дошедшие до печатного станка, сохранил лишь его персональный компьютер.

«Вскрыть текст, как месторождение полезных ископаемых, — с присущим молодости напором призывал друзей-коллег М. Жажоян. — Никаких кротовых ходов глубинных шахт со штреками подтекстов, иносказаний, аллюзий и прочей премудрости (цеховой), скрытой от глаз добычи, когда на глаза людей является лишь результат, конечный продукт деятельности. Отныне станет обнаженным и сам процесс, и технология.

А метафора — венец художественного текста, сохранится лишь как метафора целого, как иероглиф всего гигантского карьера.

Возможно, при этом текст лишится привычной художественности, но, бесспорно, обретет информативную значимость. Как Библия — единственный доселе образчик нехудожественной художественности, недробимой в знаковый ряд сакральной метафоричности».

Вышеприведенные рассуждения о будущей универсальной филологии в чем-то сродни гипотетической лоции морского похода в Вест-Индию, если бы таковую взяли составить для Христофора Колумба то и дело впадающие в болезненную экзальтацию географы европейского Средневековья. Такая лоция, как и откровения Жажояна, основывалась бы на предощущениях и догадках. Основная идея: ОНА должна быть где-то там, за неблизким морским горизонтом, эта загадочная и сказочно богатая Индия, ее наличие чувствуют фибры души, она, наконец, жизненно необходима для пополнения оскудевшей казны королевской Испании.

Да, она всем нужна и, следовательно, будет открыта. Но, конечно же, не как Вест-Индия, а как Америка, оказавшаяся землей, тоже полезной короне...

Продолжая, развивая это весьма вольное сравнение-уподобление, смеем утверждать, что и принцип гипертекста для будущего мирового гиперустройства, для новой гипернауки, несомненно, будет определен (или *возникнет* как подарок Провидения?), но при этом вовсе не факт, что станет он развернутой цитатой прозрений М. Жажояна.

Формула Жажояна представляется нам наиболее удачной на настоящий момент комбинаторикой *социального* и *художественного*. В рассуждениях международного (Армения — Санкт-Петербург — Париж) филолога ощущается грядущее примирение, конвергенция научного и художественного начал текстового отражения социальной реальности. Чего стоит блестяще сформулированная задача трансформировать художественную метафору в предложение, которая, по мнению автора, является не чем иным, как очищенной от искусства поливалентности метафорой?!

Вроде бы Машук предлагает кощунственное для него — практика художественного творчества — действие: радикальную трансформацию художественности в науку, ибо *предложение* в современной научной лексике является одним из опорных понятий. На самом деле это, конечно же, не так. Ведь речь не идет о простой механистической замене. В процессе **трансформации** предложение не останется неизменной, да и трансформируемая метафора не совсем исчезнет. Они сольются, образовав нечто новое, в котором усилятся качества каждого из исходных феноменов да к тому же добавятся другие, вполне возможно, неведомые доселе... Это как синтез графита и сверхвысокого давления; в полученном сверхпрочном минерале — алмазе — не различить хрупкого графита и вообще нематериальной субстанции — давления, но ведь они есть там, есть!..

Однако как могут быть реализованы такие, глобального масштаба, установки? Что, применительно к **социальной филологии**, может выступить в качестве образного тигля с графитом и что есть то невиданной силы давление, способное так изменить кри-



сталлическую решетку графита, чтобы в мире воссиял холодно-прозрачный, не знающий конкуренции в прочности, алмаз?

Еще вчера мы затруднились бы с ответом. Сегодня же, по нашему мнению, для решения подобного рода задач имеется принципиально новая исследовательская технология: *метод когерентности*, предполагающий взаимопроникновение, ведущее к обогащению исходных элементов (в нашем случае — социологии и литературы), к образованию *нового качества*.

«В ранний период развития социологии эта проблема, — как считает исследователь феномена когерентности применительно к гуманитарной научной сфере С. Климовицкий, — кажется, мало занимала социальных теоретиков. Моделирование первыми социологами своей дисциплины по аналогии с естественными науками делало фактически невозможным выявление особенностей социальной реальности. Так, лежащая в основании социальных теорий Конта и Спенсера органическая аналогия неизбежно смещала фокус их внимания на социальную систему в целом, эволюция которой занимала их гораздо больше, чем отношения между этой системой и ее частями. Кроме того, преобладавшая в научной парадигме того времени вера в объективность и неизблемость законов природы, которые распространялись также и на человеческое общество, принижала важность субъективных действия и интеракции, которым отводилась, в лучшем случае, роль аналога биологической борьбы за существование» [52, 15].

Как мы знаем, развитие социальных наук способствовало преодолению ограниченных представ-

лений о социальном мире как некоем аналоге природной, «биологической» субстанции. Со временем не только внутренняя гармонизация элементов социального мировоззрения, но и многообразие взаимодействия с последующими трансформациями социальных компонент и иных вне- и инодисциплинарных составляющих все в большей мере становились предметом исследования социологической науки.

Конечно, первостепенной задачей социологии всегда являлось выяснение природы, степени проявленности, обусловленности и т.д. социального в контексте развития человеческого общества и взаимодействия социального с другими составляющими, общее, глобальное мировоззрение социума, но чем более развивался и одновременно усложнялся объект социологического анализа, тем более точным, способным на макрооперации требовался его инструментарий. Поэтому если рассматривать искомый гипертекст как инструмент познания социального мира и одновременно с этим фиксацию этого социального мира в универсальной семиотике, как сохраняющую итоговый вывод о промежуточном состоянии исследуемого объекта, как его информативную матрицу, то вполне возможно предположить усиление интереса к решению подобного рода формальных задач со стороны социологов, исследующих различные аспекты метода когерентности.

Обратимся к работе Джеймса Коулмана «Основания социальной теории» [134]. В ней Коулман утверждает, что задачей социологии является объяснение поведения социальных систем, которое должно осуществляться на основании изучения внутренних

процессов в системе, включая ее составные части, т.е. индивидов.

В качестве иллюстрации логики такого объяснения Коулман приводит сформулированное Вебером макросоциальное положение о том, что «религиозная этика, характерная для протестантских (и особенно кальвинистских) обществ, несет в себе ценности, способствующие развитию капиталистической организации экономики [134, 6]. Адекватное доказательство этого положения, согласно Коулману, должно предполагать нисхождение на индивидуальный уровень, что и делает Вебер, исследуя ценности кальвинизма и сравнивая их с «духом» современного капитализма. В результате первоначальная формулировка распадается на три:

1. Религиозная доктрина протестантизма порождает у своих сторонников некоторые ценности.

2. Индивиды с определенными ценностями следуют определенным ориентациям экономического поведения.

3. Определенные ориентации экономического поведения способствуют капиталистической организации экономики общества.

А что если попробовать исследовать по аналогичной схеме взаимодействия и взаимовлияния социального и художественного? (Ведь, укажем в скобках, и З. Бауман использовал проведенный П. Бурдьё анализ литературной жизни для того, чтобы по той же схеме исследовать интересующую его проблему борьбы за власть) [7, 261 – 262]. Убедимся ли мы в этом случае, что феномен массового распространения художественного, характерный для высокоразвитых и высокообразованных обществ, несет в себе

эстетические и дополнительные информативные ценности? Что ценности художественной компоненты, умело употребленные социологией, способствуют утверждению за последней общественного авторитета всеобъемлющей синтетической научной дисциплины? Ведь образность как основная отличительная черта и особенность художественности — это, не только и не столько эстетический, стилистический изыск, сколько, прежде всего, добавочная информативность, дополняющая и расширяющая свойства описываемого явления или понятия. Разве не в этом сущностная задача социологического исследования?

Оставим вопрос открытым хотя бы до ситуации, когда когерентность в гуманитарных науках станет не только объектом структуральных исследований на предмет сокрытых в ней возможностей и механизмов их реализации, но и обретет устойчивую методику и методологию собственных изысканий, а задача построения адекватного целостного представления о социальной реальности, задача, которая на настоящий момент является основной для социологов, разрабатывающих в различных плоскостях принципы когерентности, дополнится осознанием необходимости исследований в отношении адекватной времени и его задачам формы фиксации социологических открытий, следовательно, формы существования самой социологической науки.

Пока вопрос, проблема гипертекста как более совершенного языка социологии, нежели нынешний, общеупотребимый, — это скорее предмет стратегического планирования, нежели конкретных социологических исследований, завтрашний день социальной науки, которую, по нашему мнению, следует

ожидать также в качестве гиперсоциологии. Что ж, *ultra posso nemo obligatum*<sup>49</sup>.

Однако уже теперь мы можем наблюдать примеры (и весьма успешные примеры!) конвергенции социального и художественного начал, социологии и литературы. Процесс этот в отношении социологической науки стал *значимым частным* во вдохновляющем нас глобальном явлении расширения и *гиперболизации общего*. Ведь что ни говори, а дискурс современной социологии, по нашему убеждению, таит до поры до времени сокрытую ее трансформацию в глобальную науку, каковой в приблизительном виде была с начала модернизации и пока еще остается для мирового гуманитарного сознания и практики осмысливания сущего философия. Правы социологи Ж.Т. Тощенко и Н.В. Романовский, утверждающие, что отсутствуют заметные изменения в метатеоретической стратегии развития социологии. Что в этом плане «больших подвижек не наблюдается, если не считать высказываний Э. Гидденса и И. Валлерстайна и некоторых других авторитетных социологов в пользу создания в перспективе интегрированной социологической науки» [119, 8 — 9]. Но правота эта, так сказать, — «убывающая», в большей мере дня вчерашнего, чем сегодняшнего, и уж совсем не завтрашнего.

Ближе к реалиям времени академик Г.В. Осипов, отметивший в предисловии к 5-му изданию «Рабочей книги социолога»: «Попытки создания универсальной макротеории продолжаются, но они носят незавершенный, поисковый характер»<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Никого нельзя обязать сверх его возможностей (*лат.*).

<sup>50</sup> Осипов Г.В. Рабочая книга социолога. М., 2009. С.6.

Знаковой в этом отношении нам представляется книга французского писателя, социолога по профессии Жоржа Перека «Вещи»<sup>51</sup>. Эта небольшая по объему работа стала удачным опытом социологического исследования, которое осуществлено и зафиксировано, однако, методами не науки и не литературы как таковых, а некой синтетической формой изложения, удачно сохранившей достоинства и преимущества как научного, так и литературного исследовательских подходов.

Феномен этот получил название *социологический этюд*, что довольно точно отражает два основных качества использующегося в нем метода:

- приближенность (но не более того, до заступа разделительной черты!) к художественной форме;
- незавершенность (промежуточность) как самого метода, так и зафиксированного при его помощи исследовательского результата.

Структура общественной молекулы, привлекающей внимание Перека и заключающейся в проблеме «вещизма» (обзаведении и владении предметным миром в бурный период становления так называемого общества потребления западного типа) передана в самой художественной структуре прозы французского писателя-социолога. Создаваемый автором текст не описывает в беллетризованной форме результаты социологического анализа, а по мере разворачивания сюжета становится весьма необычной, но захватывающе-интересной большинству массового читателя формой самого этого анализа. В результате герои «Вещей» Жером и Сильвия заданно

---

<sup>51</sup> *Georges Perec. Les choses. Paris, 1965.*

лишены примет психологической глубины, объема и как следствие — индивидуальности и представляют собой лишь некую модель сознания и поведения молодой супружеской пары, принадлежащей к так называемым интеллигентным кругам и проходящей в рамках буржуазной «цивилизации изобилия» типичный для 60-х гг. XX в. путь повзреления и перехода в иную общественную категорию, обычно именуемую в западных социологических исследованиях «кадрами»...

Другой пример — изыскания патриарха мировой социологии Зигмунда Баумана, собранные в книге с интегральным для этих изысканий заголовком «Индивидуализированное общество» [7, 390], которая появилась на книжных прилавках Европы совсем недавно — в 2004 г. Представляя книгу российскому читателю, В. Иноземцев убежден: «Несмотря на достаточно специальный характер книги, она способна увлечь весьма широкую читательскую аудиторию, причем интерес читателя обуславливается и самим предметом исследования, и оригинальным, если не сказать — уникальным, подходом автора к этому явлению» [7, 10].

Возьмем на себя смелость добавить к причинам, по которым книга может быть интересной читательской аудитории, *стиль изложения*. Он в большей мере, чем фиксируют тексты отечественных социологов, *философичен* (рассуждения об изменениях понятия «бесконечность» и «бессмертие»), *политизирован* (рассуждая о политике, автор отделяет жизненную стратегию отдельных людей (житейскую политику) от политики правительств, а последнюю — от Политики с большой буквы, которая призвана

в современных условиях формировать всемирную оппозицию глобальным неконтролируемым силам), *мифологизирован* («Разве я сторож брату моему?»), *метафоричен* (порожденный модерните **роман с ясностью** (выделено мной. — *Авт.*), *психологичен* («Возникает **ощущение «разъединенного времени»** (выделено мной. — *Авт.*), *парадоксален* (о «пользе» бедности; **критика приватизированная** (выделено мной. — *Авт.*) и обезоруженная) и т.д.

По форме собранные в книге «Индивидуализированное общество» статьи З. Баумана — социологические этюды, но сравнивая их с произведениями алогичного жанра, не можешь не отметить еще большего отхода автора от так называемого научного (на самом деле, конечно же, псевдонаучного!) стиля изложения. Ни одной таблицы или графика, отсутствие статистики как таковой и вкупе с ней той якобы математической атрибутики, которая, как все еще принято считать, определяет *объективность* исследования, зато в достатке индивидуального, авторского мнения, ссылок на литературные источники, на приватные, никакими источниками не зафиксированные беседы, пир метафор, постоянная отсылка к миру предчувствий и ощущений — короче, выраженная антинаучность... Но только «антинаучности» этой веришь в итоге куда как больше, нежели под завязку напичканной статистической цифирью и результатами выборочных опросов «настоящей», традиционной социологии...

На рубеже веков и тысячелетий литературовед А. Эткинд впервые опубликовал в журнале «Знамя» переизданную впоследствии в книге статью «Толкование путешествий», в которой предпринял



оригинальную попытку исследовать сны Веры Павловны — героини романа Н. Чернышевского «Что делать?», с точки зрения... отраженной в них топографии! «Среди прочих интересных снов русской культуры самый любимый — четвертый сон Веры Павловны, героини романа Чернышевского *Что делать?* Он похож на оперу и состоит из нескольких действий; нас интересуют декорации» [131, 55].

Вернее — Новая Россия на юге, уточним за автора. Та самая «Новая Россия», которая, по логике статьи А. Эткинды, в реальной топографии Земли располагается на юге современных США. «Вера Павловна со своим гидом — русской царицей — находятся где-то в Канзасе; русские люди расширяют границы Штатов на Юг, в Техас и в Мексику» [131, 55].

Смелая гипотеза так гипотезой и осталась: нет (или пока не отыскали) свидетельств самого автора романа о такой оригинальной задумке относительно снов своей героини. Нет подтверждений и косвенных: в переписке Н. Чернышевского, в свидетельствах его окружения.

Да нам ничего этого и не нужно. Всего важнее для нас в данном эпизоде — *строй мыслей* исследователя, мыслей, которые свидетельствуют о его константной **бессознательной социальности**. А как еще иначе трактовать попытку исследовать проявления даже бессознательной психики человека — снов<sup>52</sup> в контексте одного из самых социодетерми-

---

<sup>52</sup> «Сон — это маленькая потайная дверь в самом глубоком и сокровенном святилище души, открывающаяся в ту первозданную космическую ночь, которая была душой задолго до появления сознательного эго и будет душой далеко за пределами того, чего сознательное эго когда-нибудь сможет достичь» [132, 474].

нированных полей, каковым является топография государства?

Впрочем, на социальную природу сна косвенно указывал еще в зачатке минувшего века ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии 1923 г. Уильям Батлер Йейтс, считая, что «ответственность начинается уже во сне».

Еще более значимы для нас рассуждения современного исследователя, практикующего структурно-семантические и близкие им методы анализа текста, когда он трактует текст с позиций информации-метафоры и постоянно обновляемых смыслов. А. Эткинд утверждает: «Прочтя Токвиля и Чаадаева, Пушкин развертывал свои впечатления в вариант **исторической социологии религии** (выделено мной. — *Авт.*) <...> Уподобляя православных священников евнухам или, хуже того, скопцам, продолжал разрабатывать особенное представление об отношениях между властью, религией и полом, на котором сосредоточены многие тексты 1833—1836 гг.» По его мнению: «*Сказка о золотом петушке* соединила фольклор русских сектантов с американским текстом Вашингтона Ирвинга, показывая отношения между царем, оказавшимся под властью страсти, и скопцом, у которого “одна только страсть к власти”. *Анджело* соединял шекспировский сюжет с новой легендой об уходе Александра I <...> сюжет *Капитанской дочки*: чаша любви и здесь перевешивает чашу власти. Тонкую фактуру этих отношений иллюстрировал диалог Григория и Марины в *Борисе Годунове*» [131, 431 — 433].

И хотя такого рода текстовый анализ весьма далеко отстоит от методики, *стилистики* нашего ис-

следования, его, бесспорно, следует признать и учесть как оригинальную и любопытную попытку вывести на свет Божий проявления сознательно-бессознательного автора. Для чего осветить закуты авторского андеграунда, различить там это самое социальное бессознательное, воспринимаемое исследователем в качестве аллюзий, и сознательно уложенные в текст подтексты, отделить одно от другого и вновь соединить в пространстве интертекста. Но не в качестве окончательной интерпретации, а лишь в виде очередного толковательного варианта.

Сам автор определяет свою методу как «сплошное чтение», которое «может иметь своим предметом интертекстуальные цепи различной природы: отравляющиеся от отдельного текста, автора, личности, явления». По мнению исследователя: «Продуктивность такого рода чтения зависит не от методологической ориентации исследователя, но от его культурной сензитивности, готовности следовать за чередой ассоциаций и возвращаться к первичным текстам, способности к построению собственного нарратива. С каждым новым поворотом интерпретации становятся видны, как в зеркале заднего вида, повторяющиеся акты вытеснения предшественниками текстуального материала. Им он казался несущественным и в результате их усилий стал несуществующим; теперь же он кажется важным и, более того, очевидным» [131, 431].

Как можно понять из вышеприведенной цитаты, в гуманитарных науках продолжается наладка более изощренных и тонких, чем это обусловлено традицией, инструментов анализа и интерпретации текста. И, следовательно, выработка новых подхо-

дов к созданию поливалентного интер-гипертекста. Пока работа эта сродни стремлению нащупать почти что вслепую надежную опору для решительного шага на новый уровень текстового общения, новый исследовательский уровень. Но ведь почти каждому значительному научному открытию предшествовал схожий период блуждания в плотной темноте по азимуту, указанному светящейся стрелкой компаса интуиции. Сегодня поиск и не бесспорные результаты. Завтра настанет пора находок-открытий...

Все мы сознательно или бессознательно социодетеминированы. Большинство — литературоцентричны<sup>53</sup>. Смеем утверждать также, что за прошедшие после данной нам, русским, А.С. Пушкиным уничижительной характеристики десятилетия мы в большинстве своем стряхнули патриархальную лень и пробудили благое любопытство. Так что все предпосылки для появления гипертекста новой гиперсоциологии, как говорится, — налицо... «Пора, мой друг, пора!»...

---

<sup>53</sup> Это обстоятельство вынуждены учитывать даже главные оппоненты книги — производители электроники. Близко завершение разработки общедоступной «электронной книги», которая будет максимально напоминать книгу традиционную, вплоть до кожаного или коленкорového переплета. Но главное, текст в ней будет не *излучаться*, как в нынешних мониторах, а *отражаться*, как в традиционной книге, что более привычно и безопасно сетчатке глаза. Другой приятный «пустячок»: такая книга легко может поместить в электронную память и сохранить там до требования читателя библиотеку из, примерно, 50 000 томов...

# ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

## А

Абрамов Ф. — 124, 125, 143

Авилова Н.С. — 30

Аганбегян А. — 174

Адорно Т. — 168

Аитов Н.А. — 117, 177, 178

Айтматов Ч. — 124, 143

Аксенов В. — 115, 143, 208

Андерсен Г.-Х. — 225

Аракчеев Ю. — 192, 210

Арон Ф. — 113

Аристотель — 87, 207

Архимед — 191

Астафьев В. — 124

Афанасьев А.Н. — 225

Ахмадулина Б. — 218

## Б

Бабаевский С. — 218

Байрон — 225

Бакунин М.А. — 62

де Бальзак О. — 23

Барт — 156, 157

- Баскин М.П. — 112  
Батюшков К.Н. — 18–22, 25  
Бауман Э. — 114, 147, 235, 239, 240  
Бах И.С. — 27  
Бахтин М.М. — 50, 67  
Башуцкий А. — 24, 25, 56, 59  
Бегичев Д.Н. — 22, 23  
Белинский В. — 12, 16, 24, 55–57, 65, 91  
Белов В. — 125  
Белых Г. — 187  
Беляев Э. — 154  
Беляев Ю. — 140  
Бляхман Л.С. — 154  
Богомолов Ю. — 120  
Борель П. — 23  
Боттомор Т. — 113  
Брежнев Л.И. — 130  
Брехт Б. — 7  
Бриттен Б. — 81  
Буковский К. — 183  
Буксгевден О.О. — 26  
Бухарин Н.И. — 111  
Булгарин Ф.В. — 24, 56  
Бурдые П. — 5, 6, 235  
Буртин Ю. — 128, 149, 120  
Буслов К. — 150  
Быков В. — 124

**В**

- Валлерстайн И. — 237  
Ван-Гог В. — 170  
Васильев В. — 114, 115  
Вебер М. — 26, 91, 235, 189

- Великий П. — 125  
Вистенгоф П. — 24, 25  
Владимов Г. — 202, 204, 208—210  
Вознесенский А. — 218  
Вольтер — 91

**Г**

- Галанов — 140  
Галль Ж. — 31  
Гегель — 139, 140  
Гей-Люсак — 188  
Герасимов А. — 124  
Герцен А.И. — 16, 91, 109  
Гидденс Э. — 237  
Гиляровский В.А. — 17  
Гитлер А. — 157, 170  
Гоген П. — 170  
Гоголь Н.В. — 21, 22, 55—58, 65, 66  
Гозлан Л. — 23  
Гончаров И.А. — 16, 25  
Гордон Л.А. — 117  
Горький М. — 17, 194  
Гнедин Е. — 149, 151, 154  
Гребенка Е.П. — 25  
Грекова И. — 143  
Григоренко П. — 141  
Грин А. — 194  
Гроссман В. — 124, 125  
Грибоедов — 55  
Григорович Д.В. — 16, 25  
Грушин Б. — 114, 115, 122, 148, 154  
Гулыга А. — 8, 98, 121, 155—159, 162—166,  
168—171

**Д**

- Даль В.И. — 16, 25, 56  
Данилевский Н. — 90  
Даниэль Ю. — 160  
Де Роберти Е. — 92  
Дидро — 91  
Диккенс Ч. — 24  
Днепров В. — 155  
Добролюбов Н.А. — 91  
Долгоруков Н.А. — 59  
Долинский З. — 148  
Домбровский Ю. — 124  
Дорош Е. — 14  
Достоевский В.Ф. — 30, 66, 67  
Друцэ И. — 124  
Дуров С.Ф. — 25  
Дюма А. — 23  
Дюркгейм Э. — 83, 84, 68, 91

**Е**

- Евтушенко Е.А. — 127, 218  
Есин С.Н. — 20  
Ермилов В.В. — 223  
Ефебовский П.В. — 25

**Ж**

- Жажоян М. — 230, 231  
Жанен Ж — 22, 23, 31, 28, 33  
Жданов А. — 194  
Журавлев Г.Т. — 117

**З**

- Залыгин С. — 142  
Замошкин Ю.А. — 152, 181



- Засодимский П.В. — 17  
Затонский Д. — 155  
Зворыкин А. — 115  
Здравомыслов А. — 115, 117, 177  
Зиммель Г. — 91  
Зиновьев А. — 225  
Златовратский Н.Н. — 17

**И**

- Иванов В.Н. — 226, 227  
Иванов В.П. — 25, 42  
Ильичев Л. — 114  
Иноземцев В. — 239  
Иовчук М.Т. — 117  
Ирвинг В. — 242  
Ирвинг У. — 24  
Искандер Ф. — 124

**Й**

- Йейтс У.Б. — 242

**К**

- Кавелин И. — 136  
Каверин В. — 124  
Каждан А. — 153  
Калашников — 22  
Камов Ф. — 190–192  
Кандинский В. — 79  
Канторович В. — 154  
Канторович Вл. — 14, 97, 121, 172, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 212, 213  
Караганова С. — 131, 137  
Кардин В. — 125, 132, 133

- Кареев Н.И. — 87—89, 110  
Каронин С. — 17  
Кафка Ф. — 155, 165  
Кендалл — 103  
Кинси — 168  
Киплинг Р. — 225  
Климовицкий С. — 233  
Клопов Э.В. — 117  
Ковалевский М. — 92, 110  
Коган Л.Н. — 117  
Козлова Г.П. — 117  
де Кок П.Ш. — 23  
Кокорев И.Т. — 16, 25, 35, 41—43, 47—54, 99,  
100, 148  
Колаковский Л. — 114  
Колумб Х. — 231  
Кон И. — 115, 149, 153, 154  
Кондратович А. — 131, 135, 136, 140  
Кондратьев Е. — 199, 210  
Константинов Ф. — 111  
Конт О. — 82, 86, 87, 91, 112, 233  
Коржавин Н. — 40  
Короленко — 17  
Косолапов — 142  
Коулман Д. — 234  
Клямкин И. — 145  
Крамер — 103  
Крюмер П.Л. — 23, 24  
Кузеванова Л.М. — 144  
Кулагин А. — 114  
Кулешов В.И. — 64  
Култыгин В.П. — 57  
Кучерова В. — 149

Кучинский Ю. — 113

Кювье — 9

## Л

Лакшин В. — 127, 129, 138, 223

Лапин Н. — 115

де Лабрюйер Ж. — 23

Левада Ю. — 115

Левитов — 17

Лемарк — 9

Ленин В.И. — 54, 120, 150, 120

Лермонтов М.Ю. — 16, 55, 59—61

Лесаж А.Р. — 23

Лихачев Д. — 224, 225

Ломоносов М.В. — 202

Лушпол И. — 111

## М

Майков Вал. — 29, 24

Макаренко А. — 187

Малер Г. — 81

Маркс К. — 92, 95, 96, 120, 173

Мансуров П. — 115

Маяковский В. — 135

Мереи Ф. — 162

Меринг Ф. — 7

Мечников Л. — 92

Мёртон Р. — 11, 147

Миנדлин И. — 150

Митин М. — 111

Михайловский Н. — 92

Моне К. — 78, 63

Монтескье — 88, 91

Моцарт В.-А. — 27

**Н**

Наумов Н.И. — 17

Некрасов Н.А. — 16, 20, 24, 25, 27, 56, 123, 227

Немзер А. — 208, 229

Нестеров М.В. — 71

Ницше Ф. — 207

Новиков — 18

Норовчатов С. — 142, 143

**О**

Одоевский В.Ф. — 18, 21, 22, 25, 33

Овечкин В. — 14, 125

Овчаренко А. — 194

Окуджава Б. — 218

Ольшанский В. — 151, 212–214, 172

Онегин Е. — 28

Оранский С.А. — 111

Ортега-и-Гассет — 156, 157

Осипов Г.В. — 4, 92, 101, 113–115, 119, 150,  
151, 155, 225, 237

Осовская М. — 114

**П**

Панаев И.И. — 16, 25, 56

Пантелеев Л. — 187

Паустовский К. — 17, 124

Пендерецкий К. — 81

Перек Ж. — 238

Петров И. — 114

Петрушевская Л. — 136

Печорин — 28

Пиа Ф. — 23

Пикассо — 170

- Пирсон — 103  
Писарев Д. — 91  
Плеханов Г.В. — 54, 97  
Плещеев — 29  
Победоносцев К. — 90  
Погодин М.П. — 51  
Полевой Н.А. — 18, 25, 31—43, 54, 55, 99, 100  
Померанцев В. — 125  
Помяловский — 17  
Поршнева Б.Ф. — 153  
Потемкин А. — 152  
Процкевич А. — 187  
Пруденский Г. — 117  
Пуленк Ф. — 81  
Пушкин А.С. — 16, 21, 58, 61, 77, 242, 244

**Р**

- Равель М. — 26, 81  
Распутин В. — 125  
Решетников — 17  
Риккардо — 91  
Рождественский Р. — 218  
Розанова М. — 160  
Розенберг А. — 159  
Романовский Н.В. — 237  
Ромм М. — 160  
Румянцев А. — 115, 181  
Руткевич М.Н. — 117  
Рылеев — 21

**С**

- Саварен Б. — 23  
Санд Ж. — 23

- Салтыков-Щедрин — 17  
Сальери — 77  
Сен-Симон — 91  
Сент-Иллер — 9  
Семенов Ю. — 115  
Сёра Ж. — 78—81  
Симонов К. — 124  
Синявский А. — 160  
Скрябин А. — 81  
Слепцов — 17  
Смит — 91  
Соболев А. — 114  
Солженицын А.И. — 124, 132—135, 141, 142  
Соллогуб В.А. — 16, 25  
Солоухин В. — 58, 72, 73, 77  
Сорель Ж. — 157  
Сорокин П.А. — 7, 110  
Сочилин Б.Г. — 154  
Спенсер Г. — 83, 91, 233  
Спирмен — 103  
Староверов В. — 125  
Старн Г. — 208  
Сталин И.В. — 111, 119, 120, 160, 218, 175  
Стасов В. — 72, 74, 77, 61  
Степанов — 22  
Стефенсон — 191  
Стравинский И. — 81  
Страхов — 18  
Струмилин С.Г. — 116, 149, 173, 176, 217, 218,  
221  
Сулье Ф. — 23  
Сыромятников — 21  
Сю Э. — 35

**Т**

- Тахтарев К.М. — 110  
Твардовский А. — 124, 127, 130—134, 136, 137,  
140—142  
Теккерей У.М. — 24  
Тендряков В. — 143  
Терц Абрам — 160  
Тодоровский А. — 173  
Толбин В.В. — 25  
Токвиль — 242  
Толстой Л.Н. — 48, 60, 225  
Тощенко Ж.Т. — 237  
Трифонов Ю. — 124, 143  
Туган-Барановский М.И. — 54, 99, 100  
Тургенев И.С. — 16, 227

**У**

- Успенский Г. — 17

**Ф**

- Файнбург Э.И. — 117  
Фалалей — 30  
Федосеев П.Н. — 113  
Федоров П.С. — 25  
Федотов П. — 71—73, 75—60  
Фет А. — 225  
Флеровский Н. (Берви В.В.) — 12, 54  
Флоренский П. — 207  
Францев Ю. — 114  
Фрейд З. — 191  
Фридман Ж. — 113  
Фризман Л. — 139, 140

**Х**

Харчев А. — 117, 150, 121

Холландер А. — 113

Хофштеггер П. — 162

Хрущев Н.С. — 120, 130, 170, 190, 201, 203, 221,  
178

Хьюз Э. — 113

**Ц**

Цветаева М. — 143

Цейтлин А.Г. — 18, 25

Целмс Л. — 154,

Цыганков Д.Б. — 124

**Ч**

Чаадаев В. — 91, 242

Чацкий — 28

Черниченко Ю. — 184—186, 188

Чернышевский Н. — 91, 92, 241

Чупров В.- 103, 114

**Ш**

Шафф А. — 114

Шевцов И. — 160

Шеллинг — 91

Шельски Х. — 113, 166

Шеман В. — 166

Шёнберг А. — 81

Шиллер — 225

Шкаратан О.И. — 154

Шляпентох В. — 154

Шнеерсон М. — 133

Шуберт Ф. — 26



Шубкин В.Н. — 117, 122, 174, 180, 181, 212  
Шрейдер Ю. — 126

## **Щ**

Щедрин Р. — 27  
Щепаньский Я. — 119

## **Э**

Энгельс Ф. — 97, 140, 173, 139  
Эпштейн С. — 7, 147, 148, 150  
Эренбург И. — 13, 223  
Эртель А.И. — 17  
Эткинд А. — 240, — 242

## **Ю**

Юнг Г. — 202

## **Я**

Ядов В. — 114, 117, 122, 177, 181, 212

# СПИСОК ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1</i> Данные московской статистики .....	32
<i>Таблица 2</i> Профессиональная терминология московских торговцев .....	34
<i>Таблица 3</i> Род деятельности и сбыт мелкой промышленности московской .....	44
<i>Таблица 4</i> Слова из наречия (jargon) карманных промышленников .....	53
<i>Таблица 5</i> Данные о промысле в экономике колхоза «Большевик» .....	184
<i>Таблица 6</i> Ответы на вопрос анкеты: «Что бы вы купили на свободные деньги?» .....	214

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Авилова Н.С.* Материалы по лексике и фразеологии физиологического очерка // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. IV. М., 1957.

2. *Аракчеев Ю.* Подкидыш // Новый мир. 1997. № 9.

3. *Артамонова Е., Смирнов В.* Деревенские повести «Нового мира» 60-х гг.: типология сюжета. Вестник ВГУ. Вып. V. Волгоград, 2000.

4. *Бакунин М.А.* Собрание сочинений и писем. Т. 3. М., 1935.

5. *Басинский П.* Человек на земле // Российская газета. 2008. № 147 (10 июля).

6. *Батюшков К.Н.* Сочинения. М., 1955.

7. *Бауман З.* Индивидуализированное общество. Перевод с англ. М., 2005.

8. *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.

9. *Бибихин В.* Мир. Томск, 1995.

10. *Бегичев Д.Н.* Семейство Холмских. М., 1832.

11. *Безбородов и др.* Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х—80-х гг. М., 1994.

12. *Белинский В.Г.* Вступительная статья // Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов. Ч. 1. СПб., 1845.

13. *Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений в 13-ти т. М., 1955.

14. *Бианки Н. К.* Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». М., 1999.

15. *Богомолов Ю.* Кинематограф, который мы заслужили // Литературная газета. 1989. 6 сентября.

16. *Бонч-Бруевич В.Д.* Ленин о книгах и писателях // В.И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1976.

17. *Брехт Б.* Театр. Т. 5 (2). М., 1965.

18. *Бровман Г.* Лицо журнала // Вопросы литературы. 1959. № 7.

19. *Бурдые П.* Начала. М., 1994.

20. *Бурдые П.* Структуры, габитус, практики // Современная социальная теория. Новосибирск, 1995.

21. *Бурдые П.* Практический смысл. СПб., 2001.

22. *Бурдые П.* Социоанализ. СПб., 2001.

23. *Буртин Ю.* «Новый мир» по документам ЦК КПСС // Свободная мысль. 1996. № 10.

24. *Варшавский Л.Р.* Русская карикатура 40—50 гг. XIX в. М., 1937.

25. *Великий П.* Российская аграрная социология: этапы, имена, идеи // Социологические исследования. 2008. № 7.

26. *Виноградов В.В.* Эволюция русского натурализма. Л., 1929.

27. *Владимов Г.* Три минуты молчания // Новый мир. 1969. № 7—9.

28. *Вокруг «Ивана Денисовича».* Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990.

29. ГБЛ ОР, ф. 231 (арх. Пог./II), карт. 15, ед. хр. 104, письмо № 5.

30. *Герцен А.И.* Собрание сочинений. М., 1941.

31. *Григоренко П.* Не могу не написать // Общ. газета. 1995. 19—25 января.

32. *Григорьев Б.* В плену предвзятости // Литературная газета. 1966. 22 октября.

33. *Гроссман Л.П.* Гоголь-урбанист // Гоголь Н.В. Повести. М., 1935.

34. *Гроф С.* Холотропное сознание. М., 2002.

35. *Гулыга А.* Пути мифотворчества и пути искусства // Новый мир. 1969. № 5.

36. *Гулыга А.В.* Эстетика истории. М., 1974.

37. *Добролюбов Н.А.* Очерки и рассказы И.Т. Кокорева // Полное собрание сочинений под ред. Е.В. Аничкова. Т. V. СПб., 1911 — 1913.

38. *Есин С.Н.* Твербуль // Юность. 2007. № 4—6.

39. *Иванов В.Н.* Социология и поэзия. М., 2006.

40. *Иванов В.П.* И.Т. Кокорев. Жизнь и творчество. Минск, 1984.

41. История буржуазной социологии XIX — начала XX века. Под ред. И.С. Кона. М., 1979.

42. История социологии в Западной Европе и США. Под ред. Г.В. Осипова. М., 1999.

43. *Кавелин И.* «Новый мир» и другие // Вестник новой литературы. Л., 1991. № 3.

44. *Камов Ф.* Я — маленький // Новый мир. 1966. № 10.

45. *Кантор М.* Учебник рисования. Т. 1, 2. М., 2006.
46. *Канторович Вл.* Родственная нам наука // Литературная газета. 1966. № 56.
47. *Канторович Вл.* Социология и литература // Новый мир. 1967. № 12.
48. *Караганова С.* В «Новом мире» Твардовского // Вопросы литературы. 1996. № 3.
49. *Кардин В.* «Новый мир» и новые времена // Вопросы литературы. 1996. № 2.
50. *Кареев Н.И.* Введение в изучение социологии. СПб., 1897.
51. *Кареев Н.И.* Основы русской социологии. СПб., 1996.
52. *Климовицкий С.* Решение проблемы когерентности в современных западных социологических теориях. М. ИСПИ РАН. 2008.
53. *Клямкин И.* Почему трудно говорить правду. Выбранные места из истории одной болезни // Новый мир. 1989. № 2.
54. *Кокорев И.Т.* Мелкая промышленность в Москве // Очерки Москвы 40-х гг. Л., 1932.
55. *Кондратович А.И.* Александр Твардовский. М., 1985.
56. *Кондратович А.И.* Призвание. М., 1987.
57. *Кондратович А.И.* Новомировский дневник (1967–1970). М., 1991.
58. *Кузеванова Л.М.* К истории русской общественной мысли (1987–1990) на материалах «Нового мира» // Российский исторический журнал. 1994. № 1.
59. *Кузнецов Э.* Павел Федотов. Л., 1990.

60. *Кузьминский К.С.* Русская реалистическая иллюстрация. XVIII—XIX вв. М., 1937.

61. *Кулешов В.И.* Натуральная школа в русской литературе XIX в. М., 1965.

62. *Кулешов В.И.* Натуральная школа в русской литературе XIX в. М., 1982.

63. *Лакишин В.Я.* «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991.

64. *Лакишин В.Я.* Пути журнальные (из литературной полемики 60-х гг.). М., 1990.

65. *Левенстим А.А.* Нищенство в России по отзывам начальников губерний. СПб., 1899.

66. *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений в 55-и т. Изд. V.

67. *Лермонтов М.Ю.* Полное собрание сочинений в пяти томах. Т.V. М.-Л., 1937.

68. *Лещинский Я.Д.* П.А.Федотов. Художник и поэт. Л.-М., 1946.

69. *Лихачев Д.* Будущее литературы как предмет изучения // Новый мир. 1969. № 9.

70. *Майков Вал.* Критические опыты. СПб., 1891.

71. *Макаровская Г.В.* Один из замечательнейших деятелей русской литературы... // *Попкова Н.А.* Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым в 1825—1843. Указатель содержания. Саратов, 1990.

72. *Манн Ю.В.* Философия и поэтика «натуральной школы». М., 1969.

73. *Маркс К., Энгельс Ф.* Собрание сочинений. 2-е изд. М., 1963.

74. *Меринг Ф.* Карл Маркс. История его жизни. М., 1957.

75. Методологические проблемы науки. М., 1964.
76. *Мишле Ж.* Народ. М., 1965.
77. Москвитянин. Кн. 1. 1849. № 7.
78. Москвитянин. Кн. 2. 1849. № 2.
79. *Немзер А.* Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., 1998.
80. *Ницше Ф.* Генеалогия морали. СПб., 2008.
81. Новый живописец общества и литературы, составленный Н. Полевым. Ч. 3. М., 1832.
82. *Ольшанский В.* Важная проблема // Новый мир. 1966. № 4.
83. *Осипов Г.В.* Возрождение отечественной социологии (как это было на самом деле) // Полвека борьбы и свершений. М., 2008.
84. *Осипов Г.В.* Правда о растерявшем правду времени // *Голубицкий Ю.А.* Бизнес по-русски (социологические этюды). М., 2008.
85. *Осипов Г.В.* Социология и социализм. М., 1990.
86. *Осипов Г.В.* Социология и общество. М., 2007.
87. *Осипов Г.В.* Теория и практика социологических исследований в СССР // Социология в СССР: взгляд изнутри и извне. М., 2008.
88. *Осипов Г.В., Андреенков В.Г.* Эмпирическое обоснование гипотез в социологических исследованиях // Социологические исследования. 1974. № 1.
89. *Осипов Г.В., Москвичев Л.Н.* Социология и власть. М., 2008.
90. *Паустовский К.* Дядя Гиляй // В. Гиляровский. М., 1955.
91. Переписка Пушкина. Под ред. В.И. Саитова. Т. III. СПб., 1906.



92. *Писсарро Камиль*. Письма. Критика. Воспоминания. М., 1974.

93. *Плеханов Г.В.* Избранные философские произведения в 5-ти т. М., 1956.

94. Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса. М., 1961.

95. *Полевой Н.* Очерки русской литературы. Ч. I. СПб., 1839.

96. *Полевой Н.* Русская Библионика. Т. I. М., 1834.

97. Православный молитвослов. М., 2004.

98. *Процкевич А.* Хроника рабочих курсов // Новый мир. 1968. № 8.

99. Рабочая книга социолога. Под общ. ред. Г.В. Осипова. 3-е изд. М., 2003.

100. *Ревалд Джон*. Постимпрессионизм. М., 1996.

101. *Сакулин П.Н.* Из истории русского идеализма. В.Ф.Одоевский. Т. I. Ч. I. М., 1913.

102. *Санего И.* Клод Моне. Л., 1969.

103. *Сарабьянов Д.В.* Павел Федотов. М., 1969.

104. *Синьяк П.* От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму.

105. *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом. М., 1996.

106. *Солженицын А.И.* Публицистика в 3-х т. Ярославль, 1996.

107. *Солоухин В.А.* Письма из Русского музея. М., 1990.

108. *Сорель Ж.* Размышления о насилии. М., 1907.

109. *Сорокин П.А.* Преступление и кара, подвиг и награда. М., 2006.

110. *Сорокин П.А.* Социальная и культурная динамика. М., 2006.

111. Социальные показатели и индикаторы народнохозяйственного планирования // Социологические исследования. 1977. № 1.

112. *Староверов В.* К истории возрождения российской сельской социологии (Заметки участника) // Социологические исследования. 2008. № 10.

113. *Стасов В.В.* Статьи и заметки. М., 1952.

114. *Струве П.Б.* Научное обозрение. 1898. № 6.

115. *Струмилин С.Г.* Мир капитализма и социализма в цифрах // Новый мир. 1963. № 3.

116. *Струмилин С.Г.* Рабочий быт и коммунизм // Новый мир. 1960. № 7.

117. *Твардовский А.Т.* Несколько слов к читателям «Нового мира» // Новый мир. 1959. № 12.

118. *Тевекелян Д.* Мы были королями // Вопросы литературы. 1989. № 9.

119. *Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В.* О тенденциях развития социологии в современном мире // Социологические исследования. 2007. № 6.

120. *Туган-Барановский М.И.* Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М., 1997.

121. *Флеровский Н. (Берви В.В.).* Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования. М., 1938.

122. *Флоренский П.А.* Обратная перспектива. Собр. соч. Т. 2. М., 1990.

123. *Фризман Л.* Ирония истории, или эпизод из биографии журнала «Новый мир». Русская филология // Украинский вестник. Харьков, 1994. № 1.

124. *Цейтлин А.Г.* Становление реализма в русской литературе (русский физиологический очерк). М., 1965.

125. *Цыганков Д.Б.* Социологический анализ воззрений и общественной деятельности А.И. Солженицына. Реферат кандидатской диссертации. СПб., 1997.

126. *Черниченко Ю.* Колос Юга // Новый мир. 1968. № 8.

127. *Шнеерсон М.* По разным дорогам в одном направлении // Грани. 1994. № 174.

128. *Шрейдер Ю.* Двойственность шестидесятых // Новый мир. 1992. № 5.

129. *Шумова М.Н.* Федотов. Л., 1974.

130. *Эпштейн С.* Ученые приказчики капитала // Новый мир. 1965. № 6.

131. *Эткинд А.* Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., 2001.

132. *Юнг К.-Г.* Воспоминания, размышления, сновидения. М.-Львов, 1998.

133. *Якимович Т.* Французский реалистический очерк 1830—1848 гг. М., 1963.

134. *Coleman, James S.* Foundations of Social Theory. Harvard University Press, 1990.

135. *Comte A.* Systeme de philosophie positif: Vol. 1—6. 3 ed. Paris, 1869.

136. *Merton R.K.* On Theoretical Sociology. New York, 1967.

137. *Schelsky H.* Soziologie der Sexualiti. Hamburg, 1956.

138. *Hofstetter P.* Gruppedynamik. Hamburg, 1968.

139. *Hermsdort K.* Kafka, B. 1961.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава первая	
Физиологический очерк и социологическое исследование: феноменология, сближение в развитии .....	16
1.1. Русский очерк — этапы развития, особенности жанра .....	16
2.1. Физиологический очерк: феноменология и национальные особенности .....	23
3.1. Физиологические очерки Н.А. Полевого и И.Т. Кокорева .....	31
4.1. Очерковые «физиологии» в творчестве русских писателей-классиков .....	55
5.1. Физиологический очерк в контексте натуральной школы XIX в. Зародыш социологизма .....	64
6.1. Диктатура жанра и жанр тотального критицизма .....	67

7.1. Социологическое исследование .....	82
Краткий исторический очерк и обзор опорных для данного исследования методов .....	82
Предмет и метод социологического исследования .....	85
Становление русской социологии .....	89
Формы проявления и механизмы действия социальных законов .....	96
Выработка социальных показателей .....	101

## Глава вторая

«Оттепель» (60—70-е гг. XX в.): возрождение отечественной социологии, ренессанс социологизированной прозы .....	109
2.1. Возрождение отечественной социологии .....	109
2.2. Не существующая, но партия... «Новый мир» 60—70-х гг. ....	123
3.2. Материалы социологической тематики .....	146
4.2. Социологический очерк .....	182
5.2. Социологизированная проза .....	190
6.2. Тот же ландшафт с точки зрения социолога .....	212

## Заключение

Камо грядеши? или Гипертекст будущей гиперсоциологии .....	224
Именной указатель .....	245

Список таблиц ..... 258

Список использованной литературы ..... 259

Научное издание

**Голубицкий** Юрий Александрович

**СОЦИОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС**

**Физиологический очерк (1830—1840 гг.)**

**как предтеча русских социологий**

Главный редактор *С.Н. Дмитриев*

Корректор *И.В. Алферова*

Художественное оформление *М.Г. Хабибулло*

Верстка *Н.В. Гришина*

ООО «Издательский дом «Вече»

Почтовый адрес:

129348, Москва, ул. Красной Сосны, д. 24, а/я 63.

Фактический адрес:

127549, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корпус 1.

E-mail: [veche@veche.ru](mailto:veche@veche.ru)

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 15.03.2010. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Гарнитура «KudrashovС». Печать офсетная. Бумага офсетная.

Печ. л. 8,5. Тираж 800 экз. Заказ .

### **ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»**

ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»

#### **Почтовый адрес:**

129348, г. Москва, ул. Красной Сосны, 24, а/я 63.

#### **Фактический адрес:**

127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-71, 940-48-72, 940-48-73.

Интернет: [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

Электронная почта (E-mail): [veche@veche.ru](mailto:veche@veche.ru)

По вопросу размещения рекламы в книгах обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ».

Тел.: (499) 940-48-70.

E-mail: [reklama@veche.ru](mailto:reklama@veche.ru)

### **ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!**

Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

#### **В Москве:**

##### **Компания «Лабиринт»**

115419, г. Москва,

2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.

Тел.: (495) 780-00-98, 231-46-79

[www.labyrinth-shop.ru](http://www.labyrinth-shop.ru)

##### **В Санкт-Петербурге:**

##### **ЗАО «Диамант» СПб.**

г. Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, д. 105.

Книжная ярмарка в ДК им. Крупской.

Тел.: (812) 567-07-26 (доб. 25)

#### **В Нижнем Новгороде:**

##### **ООО «Вече-НН»**

603141, г. Нижний Новгород,

ул. Геологов, д. 1.

Тел.: (8312) 63-97-78

E-mail: [vechenn@mail.ru](mailto:vechenn@mail.ru)

#### **В Новосибирске:**

##### **ООО «Топ-Книга»**

630117, г. Новосибирск,

ул. Арбузова, 1/1.

Тел.: (383) 336-10-32, (383) 336-10-33

[www.top-kniga.ru](http://www.top-kniga.ru)

#### **В Киеве:**

##### **ООО «Издательство «Арий»**

г. Киев, пр. 50-летия Октября, д. 26, а/я 84.

Тел.: (380 44) 537-29-20, (380 44) 407-22-75

E-mail: [ariy@optima.com.ua](mailto:ariy@optima.com.ua)

Всегда в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ»

в московских книжных магазинах:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва»,

ТД «Молодая гвардия», «Московский дом книги»,

«Букбери», «Новый книжный».